

НИКА ФРОСТ



ЧЕРТОГИ

Ника Фрост

Чертоги

<https://litres.ru/74664214>

SelfPub; 2026

Аннотация

В лицее «Мнемон» учат помнить всё. Но кое-что здесь предпочли бы забыть навсегда.

Семнадцатилетняя Варвара Ольхина получает стипендию престижного лица на затерянном посреди северного озера острове. Старый особняк, строгие преподаватели, блестящие ученики. И комната, в которой ещё недавно жила девушка, погибшая при загадочных обстоятельствах.

Варя не собирается расследовать чужую смерть. Ей хватает собственных тайн. С детства она видит воспоминания людей, стоит лишь прикоснуться к старым вещам. Такой же дар был у её матери. И именно он, похоже, свёл её с ума.

Но вскоре выясняется, что мать тоже училась в «Мнемоне». А погибшая девушка перед смертью пыталась раскрыть тайну, которую лицей хранит уже сто лет.

Здесь можно избавиться от самого страшного воспоминания. Вот только забытое никуда не исчезает.

И кто-то готов убивать, лишь бы прошлое не вернулось.

Содержание

Глава первая. Последний паром	4
Глава вторая. Метод мест	20
Глава третья. Выпускная работа	35
Глава четвёртая. Интервью	49
Глава пятая. Восточное крыло	63
Глава шестая. Паромщик	77
Глава 7. Статуи по ночам.	93
Глава восьмая. «Забудь»	106
Глава девятая. Приглашение	122
Глава десятая. Палата	138
Конец ознакомительного фрагмента.	148

Ника Фрост

Чертоги

Глава первая. Последний паром

Паром на Стылый уходил из Сельги в шесть вечера, и я едва не опоздала на него.

Автобус из Ковды сломался под Беломорском, и мы два часа стояли на обочине, пока водитель лежал под мотором, а пассажиры курили в мокрых кустах. Потом была пересадка, потом ещё одна, потом маршрутка, в которой пахло бензином и мандаринами, хотя до Нового года оставалось четыре месяца. Когда я выбралась на пристань в Сельге, с рюкзаком за спиной и чемоданом, у которого отваливалось колесо, часы на здании речного вокзала показывали без четырёх шесть.

Паром стоял у причала — низкий, ржавый, с облупленной синей надписью по борту: «Вельмо». На корме, у сходней, курил старик в брезентовом плаще и ушанке, хотя было тепло. Он смотрел, как я бегу по мокрым доскам, волоча чемодан, и не двигался.

— Лицей? — спросил он, когда я остановилась перед ним, задыхаясь.

— Лицей.

— Последняя, — он выбросил окуроч за борт. — Осталь-

ных ещё утром отвёз. Документ.

Я протянула ему письмо с печатью: «Государственный лицей „Мнемон“. Уведомление о зачислении. Ольхина Варвара Сергеевна. Стипендия попечительского совета». Он прочитал его медленно, шевеля губами, потом посмотрел на меня. Долго. Так смотрят на лицо, которое кажется знакомым.

— Ольхина, — повторил он. — Из Ковды?

— Да, из Ковды.

— Ну-ну, — старик вернул мне письмо и взялся за мой чемодан. — Проходи. Шторм идёт. Если не успеем до темноты, будем ночевать в заливе.

* * *

Вельмо — это не озеро. Это море, которое по ошибке оказалось пресным.

Я поняла это через полчаса, когда Сельга скрылась за кормой и вокруг не осталось ничего, кроме воды — серой, тяжёлой, в белых барашках. Берега пропали. Небо опустилось так низко, что, казалось, его можно потрогать рукой с верхней палубы. Ветер дул с севера, ровно и зло, и паром переваливался с волны на волну, как пьяный.

Я стояла у борта, держась за поручень, и смотрела вперёд. Меня не тошнило. Я выросла на Белом море, в посёлке, где отец уходил в рейс на полгода, а мать стояла у окна и смотрела на воду, пока не стемнеет. Вода меня не пугала. Пугало другое.

Пугало то, что я ехала туда, где никто меня не знал. И

где я никого не знала. И где мне предстояло прожить год — последний школьный — среди людей, которые с двенадцати лет учили латынь и древнегреческий и, говорят, запоминали страницу текста с одного прочтения.

Я выиграла олимпиаду по латыни. Всероссийскую. Сама до сих пор не понимала как. Латынь я учила по маминому старому учебнику, который нашла на антресолях после её смерти, — потрёпанному, с карандашными пометками на полях, с засушенным листом рябины между страницами. Учила, потому что больше нечем было заняться долгими поллярными ночами. Потому что мёртвый язык был тише живых. А потом учительница русского в нашей школе отправила мою работу на региональный этап, просто так, на всякий случай, и всё завертелось.

Через месяц после финала пришло письмо. Попечительский совет лицея «Мнемон» предлагал мне место в выпускном классе, полную стипендию, проживание, питание и форму. Отец, который тогда как раз вернулся из рейса, долго вертел письмо в руках, потом спросил: «Это где?» Я показала на карте. Он долго молчал. Потом выдавил: «Езжай. Мать бы хотела».

Я не стала спрашивать, откуда он знает, чего бы хотела мать. Мы с ним никогда о ней не говорили.

— Вон он, — старик в брезентовом плаще встал рядом со мной у борта. Я не слышала, как он подошёл. — Стылый.

Я посмотрела.

Из воды впереди поднимался остров. Чёрный, скалистый, поросший соснами, такими тёмными, что они казались вырезанными из бумаги. А на самой высокой точке острова, над соснами, над скалами, над серой водой, стоял дом.

Нет. Не дом. Дворец. Три этажа тёмного кирпича, с высокими узкими окнами, с белыми колоннами у входа, с флигелями по бокам, уходящими в лес. А над всем этим — башня. Высокая, тонкая, восьмигранная, с куполом на макушке, похожим на шлем. И в куполе что-то поблёскивало.

— Колокол, — старик проследил мой взгляд. — Обсерватория там раньше была, при основателе. Потом колокол повесили. Бьёт к урокам и на пожар.

— А церкви нет?

— Нет здесь церкви. И не было никогда, — он помолчал. — Здесь другое.

Я хотела спросить, что другое, но он уже ушёл на корму.

* * *

К острову мы подошли в сумерках, когда первые капли дождя ударили по палубе.

Причал оказался маленьким, деревянным, с покосившимся навесом. От него вверх, к дворцу, вела каменная лестница, вырубленная прямо в скале, — длинная, крутая, с железными перилами, мокрыми от брызг. Наверху горели фонари.

Старик помог мне вытащить чемодан на причал и снова посмотрел на меня тем же долгим взглядом.

— Тимофеич меня зовут, — наконец представился он. —

Савва Тимофеевич, но так никто не зовёт. Паром мой, сторожка моя, лодочный сарай мой. Если что надо на большую землю — ко мне. Пока лёд не встанет.

— Спасибо.

— Не за что пока, — он отвернулся к парому. Потом, уже на сходнях, бросил через плечо, не оборачиваясь: — Мать твоя тоже по этой лестнице поднималась. Первый раз. С таким же чемоданом.

Я застыла.

— Что?

Но Тимофеич уже был на пароме, и мотор взревел, и «Вельмо», развернувшись, пошёл обратно в сумерки, к Сельге, переваливаясь на волнах. Я стояла на причале одна, под дождём, с чемоданом, у которого отваливалось колесо, и смотрела ему вслед.

Мать. Моя мать. По этой лестнице.

Она никогда мне не говорила.

* * *

Сто двадцать восемь ступеней. Я считала. Это у меня с детства: когда страшно, я считаю. Ступени, окна, вагоны поезда, удары сердца. Цифры не врут и не пугают.

Наверху меня ждала женщина под чёрным зонтом. Высокая, худая, в длинном тёмно-сером пальто, с седыми волосами, убранными в низкий узел. Ей было, наверное, за пятьдесят. Лицо у неё было узкое, бледное, с тонким носом и прозрачными светлыми глазами. Из-под зонта она разглядывала

меня, как разглядывают редкую книгу, которую наконец доставили в библиотеку.

— Варвара Ольхина, — произнесла она. Не вопросом. — Вы опоздали на четыре часа.

— Автобус сломался.

— Автобусы всегда ломаются, когда едут сюда, — она протянула мне руку в чёрной перчатке. — Агния Львовна Штерн. Преподаватель мнемоники. Ваш куратор на этот год. Добро пожаловать в «Мнемон».

Я пожала её руку. Перчатка была тонкой, холодной от дождя.

И в этот момент я почувствовала. Совсем чуть-чуть, на долю секунды — то, что чувствую иногда, когда касаюсь старых вещей. Холодок. Как сквозняк из щели. Как будто в комнате, где ты стоишь, есть ещё одна дверь, которую ты не видишь.

Я отдёрнула руку быстрее, чем следовало.

Агния Львовна ничего не сказала. Только чуть приподняла тонкую бровь. Потом раскрыла зонт пошире, укрывая нас обеих, и повернулась к дворцу.

— Идёмте. Ужин уже прошёл, но кухня оставила вам тарелку. Утром — общее собрание, там узнаете правила. А пока — ваша комната и ваша соседка, — она помолчала. — Соседка, должна предупредить, разговорчивая.

* * *

Главный вход лица — две высокие дубовые двери под

портиком с колоннами. На каждой — бронзовый дверной молоток в виде львиной головы с кольцом в пасти. Старые, тёмные, с зелёными потёками от дождя. У левого льва был отбит кончик уха.

Агния Львовна толкнула правую дверь, не касаясь молотка, и прошла внутрь. Я задержалась. Сама не знаю почему. Наверное, потому что лев с отбитым ухом смотрел на меня бронзовыми глазами так, будто ждал.

Я протянула руку и коснулась кольца.

И мир исчез.

Не было двери, не было дождя, не было колонн. Была ночь — другая, тёплая, пахнувшая сиренью и мокрой травой. Были ступени, на которых я сидела. Не я — кто-то другой, в чьём теле я оказалась, в чьих глазах. Девушка. Её руки — тонкие, с обкусанными ногтями, с серебряным колечком на мизинце — вцепились в бронзовое кольцо так, что побелели костяшки.

Она плакала. Беззвучно, отчаянно, как плачут, когда нельзя, чтобы кто-нибудь услышал. Слезы капали на бронзу. И она шептала — одно и то же, одно и то же, по-латыни, дрожащим голосом:

— *Oblivisci volo. Oblivisci volo. Oblivisci...*

«Я хочу забыть».

А потом что-то холодное, как вода, хлынуло сквозь её пальцы в кольцо. И всё кончилось.

Я стояла на крыльце, под дождём, держась за бронзовое

кольцо, и меня трясло. По щекам текло. Я не сразу поняла, что это не дождь.

— Варвара? — голос Агнии Львовны из глубины вестибюля. — Вы идёте?

Я разжала пальцы. Кольцо было ледяным — куда холоднее, чем должна быть бронза в августе.

— Иду, — ответила я, вытирая лицо рукавом. — Иду.

* * *

Это случилось со мной с одиннадцати лет. С того года, когда мама впервые легла в больницу в Кандалакше.

Не часто. Раз в несколько месяцев. Иногда реже. Я касалась вещи — как правило, очень старой — и проваливалась в чужие глаза. Чужие руки. Чужие чувства. На несколько секунд. Однажды это был кондуктор в поезде, который сорок лет назад ссорился с женой. Однажды — женщина, которая держала на руках умирающую собаку. Однажды — мальчишка, который прятал под половицей украденные деньги.

Я никому не говорила. Никогда.

Потому что мама говорила. Мама рассказывала врачам о том, что видит, когда касается вещей. О голосах. О чужих воспоминаниях, которые приходят к ней сами. Врачи слушали, кивали и выписывали таблетки. Потом — больницу. Потом ещё одну, в Апатитах. Потом она вернулась домой, тихая, с пустыми глазами, и ходила по дому, трогая стены, и шептала что-то, чего я не понимала. Потом её не стало.

Мне было двенадцать.

Я решила тогда, что никому и никогда не скажу. Что буду считать ступени, окна и удары сердца. Что выучу латынь, уеду из Ковды и стану кем-нибудь нормальным. Кем угодно, только бы не тем, кем стала мама.

А теперь я стояла в вестибюле лица, куда, оказывается, мама когда-то поднималась по той же лестнице, и у меня на щеках высыхали чужие слёзы.

* * *

Вестибюль был огромным и тёмным. Каменный пол — шахматный, чёрно-белый, стёртый посередине тысячами ног. Высокий потолок с лепниной. Лестница с широкими пролётами, уходящая наверх, на второй и третий этаж. На стенах — портреты в тяжёлых рамах. Мужчины и женщины в старомодной одежде, все с одинаково строгими, умными лицами. Под каждым — табличка с именем и годами.

Самый большой портрет висел напротив входа. Пожилой мужчина с седой бородкой клинышком, в пенсне, в чёрном сюртуке. Он сидел в кресле и смотрел прямо на зрителя, чуть склонив голову, будто прислушивался к чему-то. Табличка под ним гласила: «Аристарх Павлович Вельский. Основатель. 1871–1938».

— Он изучал память, — Агния Львовна остановилась рядом со мной. — Всю жизнь. Особенно — как её потерять по собственному желанию, — она сделала паузу. — Говорят, так и не нашёл. Пойдёмте. Ваша комната в западном крыле. Мы поднялись на третий этаж. Длинный коридор с высо-

кими окнами, выходящими на озеро. Двери по одной стороне, с медными номерами. Где-то за дверьми играла музыка, смеялись, кто-то спорил о чём-то, кажется, по-гречески. Пахло старым деревом, воском для паркета и почему-то яблоками.

Агния Львовна остановилась у двери с номером четырнадцать.

— Ваша соседка — Софья Пак. Десятый класс, но учится с одиннадцатым по химии, — она постучала костяшками пальцев. — Предупреждаю ещё раз: разговорчивая.

Дверь распахнулась раньше, чем Агния Львовна договорила.

— Наконец-то! — на пороге стояла невысокая девушка с короткой чёрной стрижкой, в огромном свитере с оленями и с паяльником в руке. Паяльник дымился. — Я думала, тебя съел шторм. Или Тимофеич. Ты знаешь, что он однажды... Ой, Агния Львовна. Добрый вечер. Я не паяю. Это просто... я просто держу.

— Вижу, Софья, — Агния Львовна посмотрела на паяльник без всякого выражения. — Выключите, пожалуйста. Пока не сгорело западное крыло. Опять.

— Это было один раз!

— Дважды, — Агния Львовна повернулась ко мне. — Утром, в восемь, в актовом зале. Не опаздывайте. Хотя бы на это.

Она ушла по коридору, высокая, прямая, не оглядываясь.

Я смотрела ей вслед, пока она не свернула к лестнице. Потом повернулась к соседке.

Та уже выключила паяльник и теперь протягивала мне руку — испачканную в канифоли.

— Соня, — представилась она. — Все зовут Соней. Агния Львовна говорит «Софья», но она всех называет полностью, это у неё такой пунктик. Ты Варя? Варвара? Как лучше?

— Варя.

— Варя! — Соня просияла. — Отлично. Заходи. Твоя кровать у окна. Окно не закрывается до конца, но я поставила туда штуку, так что почти не дует. Там вид на озеро, красиво. Я бы сама взяла, но... — она запнулась. — В общем, проходи.

* * *

Комната была небольшой, с высоким потолком и узким окном в глубокой нише. Две кровати у противоположных стен, два стола, два шкафа. Стол Сони был завален проводами, платами, пробирками и какими-то деталями, которые я не смогла опознать. Над её кроватью висела периодическая таблица, исписанная разноцветными маркерами.

Вторая половина комнаты была пустой. Чистой. Слишком чистой. Голая кровать с аккуратно сложенным бельём. Пустой стол. Пустой шкаф с приоткрытой дверцей. На подоконнике — ничего, кроме странного устройства из проволоки и пластика, которое, видимо, и было «штукой» от сквозняка.

Я поставила чемодан у кровати и обернулась.

— Ты сказала «я бы сама взяла, но». Но что?

Соня стояла посреди комнаты, вертя в руках остывший паяльник. Улыбка у неё на лице стала какой-то неуверенной.

— Ты не знаешь? Тебе не сказали?

— О чём?

— Ну... — Соня положила паяльник на стол. — Это комната Алисы. Была. Алиса Ренн. Она тут жила до весны. Мы с ней жили. А потом...

Она замолчала.

— А потом что?

Соня посмотрела на окно. На озеро за ним, тёмное, в белых гребнях волн.

— А потом она умерла, — проговорила она тихо. — В мае. Упала в библиотеке. С галереи, в лестничный пролёт. Ночью. Три этажа.

В комнате стало очень тихо. Только дождь стучал по стеклу, и где-то внизу шумело озеро.

— Говорят, её толкнул учитель латыни, — продолжала Соня, не отрывая глаз от окна. — Ведерников. Его арестовали. Потом выпустили — доказательств не хватило. Но уволили. А его сын тут учится, в одиннадцатом. С тобой в одном классе будет. С ним никто не разговаривает.

Я посмотрела на голую кровать. На пустой стол. На шкаф с приоткрытой дверцей.

— Почему меня поселили сюда?

— Потому что больше некуда, — Соня пожала плечами.

— Все остальные места заняты. А сюда никто не хотел. Директор сначала думал вообще закрыть комнату, а потом пришло письмо от попечительского совета, что едет стипендиатка, и... вот, — она наконец посмотрела на меня. — Ты не боишься? Я бы на твоём месте боялась. Немного. Я и на своём боюсь. Иногда ночью...

Она не договорила.

— Не боюсь, — соврала я.

Соня внимательно посмотрела мне в лицо. Потом улыбнулась — снова широко, по-настоящему.

— Врёшь. Но это хорошо. Значит, будем бояться вдвоём. Это лучше, чем одной, — она плюхнулась на свою кровать. — Слушай, ты голодная? Кухня оставила тебе тарелку, но там гречка, а она у нас ужасная. У меня есть печенье. Контрабандное, из Петрозаводска. Хочешь?

Я хотела. Очень.

* * *

Мы ели печенье, сидя на полу между кроватями, и Соня говорила. Она говорила обо всём сразу: о лицее, об учителях, о том, что в столовой по четвергам дают рыбный суп, который невозможно есть, о том, что телефоны отбирают в понедельник утром и отдают только в субботу на час, и связь есть только на колокольне, так что в этот час туда выстраивается очередь, как в мавзолей.

О том, что Агния Львовна строгая, но справедливая, а директор Долгов просто злой. О том, что в лицее есть «настоя-

щие» ученики, чьи родители платят за обучение, и «стипендиаты», как мы с ней, и что первые на вторых смотрят как на мебель.

— Кроме Яна, — уточнила Соня, хрустя печеньем. — Ян Галанин. Староста. Он со всеми вежливый. Даже со мной. У него мама — председатель попечительского совета. Это она тебе стипендию дала, между прочим. Ну, не она лично, но её фонд.

— А Алиса? — спросила я.

Соня замолчала с печеньем у рта.

— Что Алиса?

— Какая она была?

Соня долго не отвечала. Потом положила печенье обратно в пачку.

— Умная, — наконец проговорила она. — Самая умная в лицее. Все так говорили, даже учителя. Красивая. Холодная. Со мной она почти не разговаривала, хоть мы и жили в одной комнате два года. Я для неё была... ну, вот как мебель, — Соня помолчала. — Но один раз, зимой, у меня была температура под сорок, и она всю ночь сидела рядом и меняла мне компрессы. А утром сделала вид, что ничего не было. Вот такая она была.

Дождь за окном усилился. По стеклу текли целые реки.

— Её парнем был Ян, — добавила Соня тихо. — Он до сих пор... ну, ты увидишь.

* * *

Соня уснула около полуночи, прямо в свитере с оленями, и захрапела — негромко, уютно, как кошка.

Я не спала. Я лежала на кровати Алисы Ренн, на свежем белье, которое пахло крахмалом и чем-то цветочным, и смотрела в потолок. Озеро шумело за окном. Где-то в глубине здания скрипели половицы, и вздыхали трубы, и что-то тихо, мерно постукивало, как часы.

Мама поднималась по той же лестнице.

Тимофеич это произнёс. Не спросил, не предположил — сообщил, как говорят о том, что знают точно. «С таким же чемомоданом».

Значит, она здесь училась. Здесь, в «Мнемоне». В этом дворце на острове, посреди озера. Учила латынь, может быть, у той же Агнии Львовны. Жила, может быть, в этом же крыле.

И никогда мне не говорила. Ни разу. Ни одного слова.

А потом начала видеть то, что видят, когда касаются вещей. И её увезли в больницу.

Я встала. Тихо, чтобы не разбудить Соню. Подошла к столу Алисы — пустому, чистому, с поцарапанной столешницей из тёмного дерева. Включила маленькую настольную лампу. Свет упал на столешницу жёлтым кругом.

У стола был ящик. Один, широкий, с медной ручкой. Я потянула его на себя.

Пусто. Конечно, пусто. Всё, что принадлежало Алисе, наверняка давно увезли родители. Или полиция.

Я уже хотела задвинуть ящик обратно, когда заметила. Не внутри — на нижней стороне столешницы, над ящиком, там, где её можно увидеть, только если наклониться и заглянуть снизу. Что-то нацарапанное. Мелко, неровно, будто ножом или кончиком циркуля.

Я опустилась на колени и посветила лампой.

Буквы. Латинские.

«MEMINI».

Я помню.

Я долго стояла на коленях у стола мёртвой девушки и смотрела на это слово. Потом протянула руку и коснулась букв кончиками пальцев.

Ничего. Ни холода, ни чужих глаз, ни слёз. Просто дерево. Просто царапины.

Но под словом, ещё мельче, почти невидимо, кто-то нацарапал дату. Я поднесла лампу ближе.

«14.V».

Четырнадцатое мая.

Я не знала тогда, что это была ночь, когда Алиса Ренн упала в лестничный пролёт библиотеки. Я узнала это только на следующий день.

Но той ночью, глядя на эти царапины, я почему-то поняла одно. Совершенно точно, как понимают цифры.

Она написала это перед смертью. И она знала, что может не успеть.

Глава вторая. Метод мест

Утром озеро было гладким и белым, как молоко, и над ним стоял туман.

Я проснулась в шесть, раньше будильника, раньше Сони, раньше колокола. Лежала и смотрела, как за окном светлеет. Туман поднимался от воды медленно, клочьями, цепляясь за верхушки сосен, и сквозь него постепенно проступали очертания берега — далёкого, тёмного, почти неразличимого. Где-то там была Сельга. Где-то там был весь остальной мир.

Здесь его не было.

В семь ударил колокол. Один раз, протяжно, гулко, так, что задрожало стекло в оконной нише. Соня подскочила на кровати, запутавшись в свитере, и пробормотала что-то вроде «уже?», а потом увидела меня и окончательно проснулась.

— Ты не спала, — она не спрашивала.

— Спала. Немного.

— Врёшь, — она зевнула. — Ты вообще много врёшь, я заметила. Это нормально. Здесь все врут. Только Агния Львовна никогда. Она просто молчит, — Соня спустила ноги на пол и поморщилась от холода. — Форма в шкафу. Твой размер, я проверила. Надевай, а то Долгов на собрании будет смотреть, у кого что не так, и потом весь год помнить.

Форма оказалась тёмно-синей: юбка до колена, белая

блузка, жилет с вышитой на кармане эмблемой — открытая книга, а над ней глаз. И пиджак, тяжёлый, шерстяной, с медными пуговицами. На каждой пуговице — тот же глаз над книгой.

Я надела всё это и посмотрела на себя в узкое зеркало на дверце шкафа. Из зеркала на меня смотрела незнакомая девушка: бледная, с кругами под глазами, с тёмными волосами, собранными в хвост. В тёмно-синем пиджаке она казалась старше. И строже.

Мама, наверное, тоже стояла когда-то перед таким зеркалом. В таком же пиджаке.

— Тебе идёт, — Соня высунулась из-за моего плеча. — Правда. Ты похожа на... на кого-то из портретов в вестибюле. Пойдём, а то опоздаем.

* * *

Актовый зал занимал почти весь второй этаж восточного флигеля. Высокий, светлый, с хрустальными люстрами под потолком и рядами потёртых бархатных кресел. В глубине, на сцене, стоял орган — огромный, тёмный, с серебряными трубами, уходящими под самый потолок. Я никогда в жизни не видела живого органа.

Зал был полон. Человек сто пятьдесят, может, больше. Все в одинаковых тёмно-синих пиджаках. Младшие сидели в первых рядах, старшие — сзади. Учителя стояли вдоль стен.

Соня утащила меня в предпоследний ряд, к окну.

— Одиннадцатый класс вон там, — она кивнула на ряд

перед нами. — Двадцать три человека. Теперь двадцать четыре, с тобой. Смотри: вон Ян.

Я посмотрела.

Он сидел в середине ряда, чуть откинувшись в кресле, и разговаривал с девушкой справа. Высокий, светловолосый, с правильным, почти безупречным лицом — такие лица рисуют на обложках старых романов. Пиджак у него сидел так, будто его шили на заказ. Наверное, так и было. Он улыбался — легко, открыто, — и девушка рядом с ним отвечала тем же, хотя видно было, что ей не до смеха.

И ещё одно. В его светлых волосах, над левым виском, была прядь. Седая. Совсем белая, как у старика, тонкая, в палец шириной.

— Ему восемнадцать, — прошептала Соня, заметив, куда я смотрю. — Это у него с весны. После Алисы. Говорят, от горя.

Девушка рядом с Яном повернула голову, и я увидела её лицо. Острое, бледное, с тёмными, коротко стриженными волосами и тяжёлыми веками. Она скользнула по мне взглядом, как по мебели, и отвернулась.

— Кира Рябинина, — Соня понизила голос ещё больше. — Была лучшей подругой Алисы. С ней лучше не связываться. Она кусается.

— А где...

Я не договорила. Но Соня поняла.

— Вон, — она кивнула на дальний конец ряда.

Там, у самой стены, отдельно от всех, сидел парень. Между ним и ближайшим соседом были три пустых кресла. Он сидел, сгорбившись, с блокнотом на коленях, и что-то рисовал карандашом, не поднимая головы. Тёмные волосы падали ему на лицо. Пиджак был ему великоват, а рукава — коротковаты, будто он вырос из одного размера, а в другой не дорос.

— Глеб Ведерников, — прошептала Соня. — Сын того самого. Его хотели отчислить летом, но мать Яна, как ни странно, заступилась. Сказала, что сын за отца не отвечает. Так что он учится. Но с ним никто...

Колокол ударил снова. В зале стало тихо.

На сцену поднялся мужчина. Невысокий, полный, в сером костюме и с лысиной, обрамлённой аккуратным венчиком тёмных волос. Он встал за кафедру, откашлялся и обвёл зал взглядом поверх очков.

— Директор Долгов, — успела шепнуть Соня. — Пётр Евгеньевич.

* * *

Директор говорил сорок минут. О столетии лица, которое мы будем праздновать в декабре, в Вековую ночь, и к которому все должны готовиться с полной отдачей. О высоком звании ученика «Мнемона». О традициях. О правилах.

Правила он читал по бумаге, медленно, отчётливо, будто диктовал.

Телефоны сдаются в понедельник в восемь утра у дежур-

ного учителя и возвращаются в субботу с шести до семи вечера. Пользоваться ими разрешено только на смотровой площадке колокольни, где есть связь. Отбой — в одиннадцать. После отбоя покидать комнаты запрещено. Восточное крыло, третий этаж — закрыто для учеников. Колокольня выше смотровой площадки — закрыта для всех, без исключения. Библиотечная галерея третьего яруса закрыта до особого распоряжения.

На последнем пункте он запнулся. Совсем чуть-чуть. Потом продолжил.

Озеро — запретная зона без сопровождения взрослого. Лодочный сарай — тоже. Паром — только с разрешения администрации.

— И последнее, — директор снял очки и протёр их платком. — Как вы все знаете, весной лицей пережил трагедию. Мы потеряли нашу лучшую ученицу. Следствие закрыто. Виновный... — он помолчал, — виновный больше не работает в лицее. Я прошу всех вас не обсуждать эту тему. Ни между собой, ни с посторонними, ни в письмах домой. Лицею сто лет, и мы не позволим одному печальному случаю бросить тень на его историю. Это всё. Занятия начинаются через полчаса.

Он сошёл со сцены.

Я посмотрела на дальний конец ряда. Глеб Ведерников перестал рисовать. Он сидел неподвижно, глядя прямо перед собой, и карандаш в его пальцах был сломан пополам.

* * *

Первым уроком у одиннадцатого класса была мнемоника. Кабинет находился на первом этаже, в западном крыле, в конце длинного коридора. Высокий, с полукруглыми окнами, выходящими в сад. Вместо парт — длинные дубовые столы в три ряда, как в старой библиотеке. На стенах — гравюры. Античные храмы. Римский форум. Какие-то внутренние покои с колоннами. Над доской, в рамке под стеклом, висела страница из старинной книги — латинский текст, готические буквы, и посередине — рисунок: человек в средневековой одежде, а вокруг него по кругу — комнаты, и в каждой комнате — предмет.

Агния Львовна вошла со звонком. Без тетради, без журнала, без единой бумаги. Она встала у доски, сложила руки перед собой и обвела класс взглядом.

— Доброе утро. Тех, кто был у меня в прошлом году, приветствую снова. Тех, кто впервые... — её взгляд остановился на мне, — приветствую впервые. Начнём.

Она повернулась к доске и написала мелом одно слово. Крупно, чётко, наискось.

«SIMONIDES».

— Кто расскажет историю? — Агния Львовна не обернулась. — Варвара. Вы новенькая. Попробуйте.

Весь класс повернулся ко мне. Двадцать три лица. Я почувствовала, как у меня горят уши.

Я знала эту историю. Мамин учебник, страница сто две-

надцать, сноска мелким шрифтом.

— Симонид Кеосский, — начала я. Голос дрогнул, но я заставила его выровняться. — Греческий поэт. Его пригласили на пир читать стихи в честь хозяина. Он прочитал. Потом его вызвали из зала: у дверей, мол, его ждут двое юношей. Он вышел. Юношей не было. А за его спиной обрушилась крыша зала. Все гости погибли. Тела были так изуродованы, что родные не могли их опознать. Но Симонид помнил, кто где сидел. Он закрыл глаза, вспомнил зал и назвал каждого по месту. Так родился метод мест.

Тишина. Агния Львовна наконец повернулась от доски и посмотрела на меня. Долго. С тем же выражением, с каким смотрела вчера под зонтом.

— Почти, — проговорила она. — Вы забыли одну деталь. Юноши у дверей. Кто они были?

Я помнила. Сноска на странице сто двенадцать.

— Кастор и Поллукс. Боги-близнецы. Симонид восхвалял их в своих стихах. Они его спасли.

— Они его спасли, — повторила Агния Львовна. — Чтобы он остался жив и помнил. Это важно. Метод мест родился не из любви к знанию. Он родился из катастрофы. Из необходимости помнить мёртвых, — она помолчала. — Садитесь, Варвара. Хорошо.

Я села. Сердце колотилось. Соня под столом показала мне большой палец.

* * *

Дальше был урок, какого я никогда не видела.

Агния Львовна объясняла метод мест — Юсі, как она его называла, по-латыни. Каждый из нас должен построить у себя в голове дворец. Не обязательно дворец: дом, улицу, школу — любое место, которое знаешь до последней трещины в стене. И разложить в нём то, что надо запомнить. Не слова. Образы. Чем ярче, нелепее, страшнее — тем лучше. Мозг не любит скучное. Мозг любит то, что его пугает или смешит.

— Двадцать слов, — она повернулась к доске и начала писать. Быстро, не останавливаясь, столбиком. — Запомните их. У вас три минуты. Потом я сотру, и каждый назовёт в том же порядке.

Я смотрела на список. «Лестница. Яблоко. Нож. Колокол. Река. Перо. Зеркало. Ключ. Свеча. Птица. Лёд. Корона. Книга. Рыба. Окно. Монета. Верёвка. Маска. Кость. Луна».

Двадцать слов. Три минуты.

Я закрыла глаза. И пошла домой.

Наш дом в Ковде. Крыльцо с отбитой ступенькой. На ступеньке — лестница, приставленная к стене, на которой, на самом верху, висит красное яблоко. Дверь. В двери торчит нож, воткнутый по рукоять. Прихожая. Над вешалкой, где висит отцовская куртка, — колокол, большой, медный, и он звонит, когда я снимаю куртку. Кухня. Из крана течёт река — настоящая, с камнями и водорослями, и в ней плавает гусиное перо. Окно кухни — зеркало, а в нём...

В зеркале была мама. Стояла у окна и смотрела на воду.

Я открыла глаза.

— Время, — Агния Львовна стёрла доску одним длинным движением. — Галанин. Начинайте.

Ян назвал все двадцать. Без единой паузы. Ровным, спокойным голосом, будто читал с листа. Потом Кира — тоже двадцать, только сбилась на «корону» и «книгу», переставила их местами. Потом ещё несколько человек — восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Агния Львовна слушала, не перебивая, и ничего не говорила.

— Ольхина.

Я встала.

Лестница. Яблоко. Нож. Колокол. Река. Перо. Зеркало...

Я запнулась. В зеркале была мама.

— Ключ, — шепнул кто-то сзади, почти беззвучно.

Я не обернулась.

— Ключ, — повторила я. — Свеча. Птица. Лёд. Корона. Книга. Рыба. Окно. Монета. Верёвка. Маска. Кость. Луна.

Двадцать. Я села. Руки у меня дрожали.

Агния Львовна смотрела на меня. Потом перевела взгляд на дальний конец класса — туда, откуда пришла подсказка.

— Ведерников, — проговорила она негромко. — Подсказывать запрещено. Вы это знаете.

Я обернулась.

Глеб сидел за последним столом, один, у окна. Он смотрел не на Агнию Львовну, а на меня. Тёмными, злыми глазами.

— Она бы и сама вспомнила, — буркнул он. — Застрыла

на зеркале. Видно было.

— Видно было, — повторила Агния Львовна. — Что вы видите в зеркале, Варвара?

Весь класс снова повернулся ко мне.

— Ничего, — соврала я. — Просто... отвлеклась.

Агния Львовна долго смотрела на меня. Потом кивнула.

— Будьте осторожнее с зеркалами, — произнесла она ровно. — В вашем дворце. Это вредная привычка — класть туда то, что не хочешь видеть, — она отвернулась к доске. — Продолжим. Рябинина, вы перепутали корону и книгу. Почему?

* * *

После урока, в коридоре, меня догнал Ян Галанин.

— Ольхина, — он пошёл рядом, легко, свободно, засунув руки в карманы. Вблизи он оказался ещё выше, чем я думала, и седая прядь над виском была видна ещё отчётливее. — Ты хорошо держалась. Агния Львовна новичков обычно ест на завтрак. Тебя, похоже, отложила на ужин.

— Спасибо. Наверное.

Он засмеялся. Смех у него был приятный, низкий.

— Ян, — он протянул мне руку. — Я тут староста. Если что-то нужно, спрашивай. Расписание, библиотека, где взять нормальный чай, а не тот, что в столовой. Всё что угодно.

Я пожала его руку. Тёплая, сухая, сильная. Ничего. Ни холодка, ни чужих глаз. Обычная рука.

— Ты живёшь в четырнадцатой, — голос у него стал мяг-

че, но мою ладонь он не отпускал. — Я знаю. Это... — он помолчал. — Если тебе там будет плохо, скажи. Я поговорю с Долговым. Найдём другую комнату.

Я посмотрела ему в лицо. Губы улыбались, а глаза нет. Глаза были светлыми, серыми, очень усталыми.

— Мне там нормально, — ответила я.

— Хорошо, — он отпустил мою руку. — Тогда до встречи. Обед в час, столовая на первом этаже. Садись с кем хочешь, но не за стол у окна. Это... ну, традиция.

Он ушёл по коридору, и я видела, как девочки из младших классов оглядываются ему вслед.

— Стол у окна — это стол «Палаты», — Соня вынырнула из ниоткуда у моего локтя. — Не спрашивай. Просто не садись туда. Пойдём, у меня сейчас химия, а у тебя латынь, нам по пути.

— Что такое «Палата»?

— Я же сказала: не спрашивай, — Соня потянула меня за рукав. — Серьёзно, Варя. Здесь есть вещи, о которых лучше не знать. Это одна из них.

* * *

Латынь вёл молодой учитель на замену — нервный, в очках, с тихим голосом, который никто не слушал. Обед был в час, за длинным столом у стены, с Соней и ещё двумя девочками из её химического кружка. Стол у окна — круглый, накрытый белой скатертью, единственный такой в столовой, — занимали семеро. Ян. Кира. Ещё пятеро, которых я пока

не знала по именам. Они ели молча, почти не разговаривая между собой, и никто из остальных ста пятидесяти учеников не смотрел в их сторону.

Глеб Ведерников обедал один, за маленьким столиком у самой двери, и ушёл раньше всех.

После обеда было свободное время — два часа до вечерних занятий. Соня ушла в лабораторию. А я пошла в библиотеку.

Сама не знаю зачем. Нет, знаю. Потому что «14.V». Потому что Алиса Ренн упала в библиотеке. И потому что, глядя на эти царапины ночью, я поняла, что не смогу спать в её комнате, пока не увижу место, где всё кончилось.

* * *

Библиотека занимала отдельное здание, соединённое с главным корпусом крытой галереей. Круглое, под стеклянным куполом, с тремя ярусами книжных полок, поднимающихся вдоль стен до самого потолка. Ярусы соединяла винтовая лестница — чугунная, ажурная, с тонкими перилами, — которая шла по центру, от пола до купола, как позвоночник. Каждый ярус опоясывала узкая галерея с перилами.

Свет падал сверху, через купол, и в его луче медленно кружились пылинки.

Пахло так, как пахнут только старые библиотеки: бумагой, клеем, пылью, кожей переплётов и чем-то сладковатым, вроде ванили.

За конторкой у входа сидела старушка в вязаной шали и

очках на цепочке. Она подняла голову, посмотрела на меня поверх очков и снова опустила глаза в книгу.

Я пошла к лестнице.

Первый ярус. Второй. Чугунные ступени гудели под ногами. На каждом пролёте лестница делала полный оборот, и с каждым витком пол внизу становился дальше, а купол — ближе.

На втором ярусе путь перегораживала красная бархатная верёвка, натянутая между двумя стойками. На верёвке висела табличка: «Галерея третьего яруса закрыта. Вход воспрещён».

Я остановилась у верёвки и посмотрела вверх.

Третий ярус. Узкая галерея с перилами, опоясывающая библиотеку под самым куполом. Полки с книгами в старых кожаных переплётках. И у дальней стены, в нише между стеллажами, — белая фигура. Мраморный бюст на постаменте. Женщина с высокой причёской и опущенными глазами.

А прямо подо мной, если перегнуться через перила лестницы, — пролёт. Пустота. Три этажа вниз, до каменного пола, выложенного чёрно-белыми плитками, как в вестибюле.

Я положила руку на перила.

Чугун был холодным. Обычный холод, металлический. Я уже хотела отнять руку, когда пришло это.

Не воспоминание. Не так, как вчера у льва — целиком, с запахами и звуками. Только обрывок. Секунда. Меньше.

Падение.

Ощущение, будто пол уходит из-под ног. Будто тебя толкнули в грудь, и ты летишь спиной вперёд, и руки хватают воздух, и перила проносятся мимо, и купол над головой кружится, и где-то далеко, наверху, кто-то кричит. Одно слово. Имя. Не разобрать.

Я отдёрнула руку и вцепилась в стойку красной верёвки. Ноги подгибались.

— Тебе туда не надо.

Я обернулась так резко, что чуть не упала.

На ступеньку ниже меня стоял Глеб Ведерников. С блокнотом под мышкой, в слишком коротком пиджаке, с мрачным, бледным лицом. Он смотрел не на меня — на мою руку, всё ещё сжимавшую стойку.

— Я и не собиралась, — я разжала пальцы.

— Все собираются, — он поднял глаза. — Все новенькие. Приходят посмотреть, где упала Алиса Ренн. Потом рассказывают дома. Интересная история. С убийцей-учителем.

— Я не...

— Мой отец её не убивал, — Глеб произнёс это ровно, без злости. Так, как говорят то, что повторяли много раз. — Если тебе интересно. Он в ту ночь был дома, в учительском флигеле. Спал. Но это никто не может подтвердить, потому что моя мать от нас ушла десять лет назад, а я ночевал в общежитии. Так что он не убивал, но и доказать не может. Вот тебе вся история. Можешь рассказать её дома.

Он развернулся и пошёл вниз по лестнице.

— Глеб, — позвала я.

Он остановился на пролёте ниже. Не обернулся.

— Спасибо за ключ, — проговорила я. — На уроке.

Глеб постоял ещё секунду. Потом пожал плечами и пошёл дальше, вниз, — чугунные ступени гудели под его шагами, всё тише, тише.

Я осталась одна у красной верёвки, под куполом, в столбе пыльного света.

Потом снова посмотрела вверх. На третий ярус. На белый мраморный бюст в нише.

Женщина с опущенными глазами. Мне почудилось — нет, конечно, только почудилось, — что она смотрит прямо на меня.

Глава третья. Выпускная работа

ЖУРНАЛ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ

Ольхина В. С., 11 класс

Руководитель: Штерн А. Л.

Запись 1. 3 сентября

Тема утверждена: «Сто лет “Мнемона”: история лица в лицах (1925–2025)».

Объём: не менее шестидесяти страниц. Источники: архив лица, библиотека, интервью с выпускниками и сотрудниками. Срок сдачи: 20 мая.

Директор Долгов назвал тему «очень своевременной» и что лучшие главы, возможно, войдут в юбилейный альманах. Агния Львовна согласилась быть руководителем не сразу. Долго смотрела на меня через стол. Потом спросила: «Почему именно история?» Я ответила: «Потому что люблю старые вещи». Она заметила: «Старые вещи не всегда любят, когда их трогают». Потом подписала заявление.

План на неделю:

1. Получить доступ к архиву (ключ у библиотекаря, Зинаиды Марковны).
2. Просмотреть выпускные альбомы 1925–2024 гг.
3. Составить список выпускников по годам.
4. Найти, кто из выпускников ещё жив и может дать интервью.

Не указано в плане, но для себя:

5. Найти 1994 год.

* * *

Я не собиралась врать в журнале. Просто кое-что в журнал не пишут.

Например, то, что тему я выбрала не из любви к старым вещам. А потому, что мне нужен был законный повод рыться в архиве. Потому что Тимофеич сказал: «Мать твоя тоже по этой лестнице поднималась». И потому что, если мама здесь училась, где-то в архиве должен быть её след. Фотография. Табель. Подпись в журнале. Что угодно.

И ещё потому, что на нижней стороне стола, за которым я теперь делала уроки, было нацарапано «MEMINI. 14.V». А библиотекарь, Зинаида Марковна, когда я спросила у неё про ключ от архива, долго смотрела на меня поверх очков, а потом вздохнула:

— В архив весной полиция ходила. Всё перерыли. Потом Ренн ходила, перед тем как... — она запнулась. — Каждый день ходила. Целый месяц. Тоже выпускную писала. Тоже про историю.

— Про какую историю?

— Не знаю, деточка. Не спрашивала. — Зинаида Марковна сняла ключ с гвоздя у себя за спиной и протянула мне. — Только до семи. И ничего не выносить. И если найдёшь там мышь, не визжи — у меня сердце.

* * *

Архив находился в подвале главного корпуса, под западным крылом.

Чтобы туда попасть, нужно было спуститься по узкой каменной лестнице за кухней, мимо кладовых, где пахло картошкой и сыростью, пройти по коридору с низким сводчатым потолком, на котором висели голые лампочки в проводочных сетках, и отпереть тяжёлую железную дверь, выкрашенную в зелёный цвет.

За дверью был зал. Длинный, низкий, со сводами, как в погребѣ. Вдоль стен до самого потолка шли деревянные стеллажи, а на них — папки, коробки, связки бумаг, перевязанные бечѣвкой, переплетѣнные тома с потускневшими золотыми цифрами на корешках. В дальнем конце стоял большой стол, покрытый зелёным сукном, и над ним висела лампа под жестяным абажуром.

Пахло пылью, мышами и старой бумагой. И ещё чем-то — едва уловимо, на самой границе, — чем-то холодным. Как пахнет на улице перед первым снегом.

Я нашла выключатель. Лампа над столом мигнула, загудела и зажглась жёлтым светом.

Выпускные альбомы стояли на нижней полке у стола. Сто штук, может, чуть меньше. Самые старые — в коленкорových переплѣтах, с фотографиями, наклеенными на картон, и подписями от руки. Самые новые — глянцевые, напечатанные в типографии. Я начала с конца. С девяностых.

1998-й. 1997-й. 1996-й. 1995-й.

Альбом был тоньше остальных. Обложка из тёмно-синего картона, на ней — тиснёный серебром тот же глаз над раскрытой книгой и цифры. Я положила его на зелёное сукно, под лампу, и открыла.

* * *

Первая страница — групповой снимок. Выпускной класс на ступенях главного входа, между колоннами. Двадцать два человека. Мальчики в чёрных костюмах, девочки в белых блузках и тёмных юбках. Все серьёзные, все смотрят в объектив. Кроме одной.

Во втором ряду, слева, стояла девушка, которая смотрела не в объектив, а в сторону. На кого-то за кадром. И улыбалась.

У неё были тёмные волосы, собранные в хвост. Тонкое лицо. Тёмные глаза. Родинка над верхней губой, слева.

Я смотрела на эту родинку и не могла дышать.

У мамы была родинка над верхней губой. Слева. Она всегда говорила, что это её «метка», что по ней её найдут, если потеряется.

Я перевернула страницу. Дальше шли портреты. По одному на каждого выпускника, с подписью снизу: имя, фамилия, и цитата — у каждого своя, по-латыни.

Я листала, пока не нашла.

«Ольга Ольхина. Ковда». И цитата: «Quod non est in memoria, non est in mundo».

Чего нет в памяти, того нет в мире.

Мама. Семнадцать лет. Тёмные глаза, родинка, улыбка уголком рта, которую я видела, наверное, раза три за всю жизнь — когда она была здорова. Здесь она улыбалась так, будто ничего плохого с ней никогда не случится.

Я долго сидела над этой страницей. Лампа гудела. Где-то в глубине стеллажей шуршало — может быть, мышь, про которую говорила Зинаида Марковна. Я не визжала.

Она никогда не говорила мне. Ни разу за двенадцать лет. Ни про остров, ни про лицей, ни про латынь. Латынь я нашла сама — её учебник на антресолях, в коробке со старыми вещами, которые отец так и не решился выбросить. Я думала, она учила латынь в институте. Или просто так. Я никогда не спрашивала.

Мне и в голову не приходило спросить.

* * *

Я заставила себя листать дальше.

Ещё портреты. Мальчики и девочки, по одному, с латинскими цитатами. Кто-то шутил — «*Carpe diem, sed non nimis*» — «Лови день, но не слишком». Кто-то писал серьёзно. Я не читала. Я искала глазами одно — на всякий случай. Сама не знала что.

На шестой странице я задержалась. Не из-за мамы — из-за девушки, которая смеялась. Единственная на всём альбоме, кто смеялся на портрете в голос, запрокинув голову: светлые волосы, крупные белые зубы, острый подбородок. «Елена Вострикова. Петрозаводск». Цитата: «*Vae victis*».

Горе побеждённым.

Странный выбор для выпускного альбома. Я перевернула страницу.

Нашла на девятой странице.

Портрет в чёрной рамке. Нарисованной от руки, тушью, прямо по картону вокруг фотографии.

Девушка. Светловолосая, с тонкими бровями и прозрачными серыми глазами. Серьёзная. Красивая той особой, хрупкой красотой, какая бывает у фарфоровых кукол. Она не улыбалась.

«Ирина Залесская. 1977–1994». И цитата: «Memento».

Помни.

Под фотографией, мелко, другим почерком, было приписано карандашом: «Погибла в Ночь памяти, 14 мая 1994 г.».

Четырнадцатое мая.

Я подняла голову от альбома. Лампа гудела. Стеллажи уходили во тьму.

Четырнадцатое мая. «14.V». Алиса Ренн упала в библиотеке четырнадцатого мая. Ирина Залесская погибла четырнадцатого мая, тридцать с лишним лет назад.

В Ночь памяти.

* * *

Газетную вырезку я нашла между последней страницей альбома и обложкой. Пожелтевшую, сложенную вчетверо, с ржавым следом от скрепки. Кто-то вложил её туда и забыл. Или не забыл.

«Сельгинский вестник», 17 мая 1994 года.

«ТРАГЕДИЯ НА СТЫЛОМ. В ночь с 14 на 15 мая в лицее “Мнемон” погибла ученица выпускного класса Ирина Залеская, 17 лет. По предварительным данным, девушка поднялась на колокольню лицея, доступ к которой для учащихся закрыт, и упала с высоты около двадцати метров. Трагедия произошла во время традиционного праздника “Ночь памяти”, который ежегодно проводится в лицее накануне выпускных экзаменов. Администрация лицея выражает соболезнования родным погибшей. Следствие рассматривает версию несчастного случая».

Больше ничего. Восемь строк. Ни имён свидетелей, ни подробностей.

Я перечитала вырезку трижды. Потом достала из кармана старый диктофон — папин, кассетный, который я нашла в той же коробке на антресолях и который всё ещё работал, — нажала на запись и прочитала текст вслух, медленно, чётко, для журнала.

Голос у меня дрожал. Я не стала перезаписывать.

* * *

— Опять ты.

Я вздрогнула так, что диктофон выскользнул у меня из пальцев и с треском упал на сукно.

В дверях архива стоял Глеб Ведерников. С фонариком в одной руке и толстой папкой — в другой. Он шурился от света лампы.

— Ты что здесь делаешь? — я схватила диктофон. Кнопка записи всё ещё горела красным. Я выключила её.

— Это я должен спрашивать, — Глеб вошёл и закрыл за собой дверь. — Ключ от архива Зинаида Марковна даёт только тем, кто пишет выпускную по истории. В этом году таких двое. Я и ты, как выясняется.

— Ты тоже про историю лица?

— Я про историю уголовного судопроизводства в Карелии, — он бросил папку на край стола. — Но здесь хранятся копии всех бумаг, которые полиция весной изъяла и потом вернула. Протоколы допросов. Объяснительные. Опись вещей Алисы Ренн, — Глеб посмотрел на меня. — Мне интересно, что там написано про моего отца. Ты против?

— Нет.

— Отлично, — он сел на стул напротив и раскрыл свою папку. Потом поднял глаза и посмотрел на альбом, раскрытый передо мной. На портрет в чёрной рамке.

Пауза.

— Залесская, — проговорил он. Медленно, будто пробовал фамилию на вкус. — Ты тоже её нашла.

Я застыла.

— Что значит «тоже»?

Глеб долго смотрел на меня через стол. Тёмными, недоверчивыми глазами. Потом вытащил из своей папки лист — ксерокопию, бледную, с полосами от плохого аппарата — и положил передо мной.

«Опись личных вещей Ренн А. К., изъятых из комнаты 14 западного крыла лицея “Мнемон”. 16 мая». Список. Одежда, обувь, книги, тетради, косметичка, ноутбук. И в самом конце, под номером тридцать семь:

«Ксерокопия газетной статьи (“Сельгинский вестник”, 17.05.1994), 1 лист».

— Она нашла её тоже, — Глеб постучал пальцем по строке. — За месяц до смерти. Эту вырезку. Сделала копию и держала у себя в комнате. Полиция её изъяла вместе со всем остальным. И никто — ни один следователь — не спросил, зачем ей понадобилась статья тридцатилетней давности о другой девчонке, которая погибла в ту же ночь, в том же лицее.

Он откинулся на спинку стула.

— Четырнадцатое мая, Ольхина. Обе. Ты это видишь?

— Вижу, — ответила я. Голос у меня сел.

— Хорошо, — Глеб кивнул. — Тогда скажи мне вот что. Зачем ты здесь на самом деле? Не для журнала. Для меня.

Я смотрела на него. На его бледное, злое, усталое лицо. На руки — испачканные графитом, с обкусанными ногтями. На слишком короткие рукава пиджака.

Потом я перевернула альбом к нему. Открыла первую страницу. Групповой снимок на ступенях.

— Второй ряд, слева, — проговорила я. — Девушка, которая смотрит в сторону.

Глеб наклонился над фотографией. Долго смотрел. Потом

поднял глаза на меня. Снова на фото. Снова на меня.

— Родинка, — он медленно выпрямился. — У тебя такая же. Над губой.

— Это моя мама. Ольга Ольхина. Выпуск девяносто четвёртого. — Я перевернула страницу к портрету в чёрной рамке, — Ирина Залесская погибла в её выпускной год. И мама мне никогда, ни разу в жизни, не сказала, что здесь училась.

Глеб молчал. Лампа над столом гудела. Где-то в стеллажах снова зашуршало.

— Где она сейчас? — спросил он наконец. — Твоя мать. Её можно спросить?

— Нет, — ответила я. — Она умерла. Пять лет назад.

Он промолчал. Не «извини», не «мне жаль». Просто кивнул — коротко, будто я сообщила ему что-то, что он и так знал. И за это я была ему благодарна больше, чем за все соболезнования, которые слышала за пять лет.

* * *

Мы сидели в архиве до семи, пока Зинаида Марковна не постучала в железную дверь и не напомнила, что у неё сердце и она хочет домой.

Мы почти не разговаривали. Глеб читал свою папку — протоколы, объяснительные, акты экспертизы, — делал выписки в блокнот и время от времени что-то зарисовывал на полях. Я листала остальные альбомы девяностых и восьмидесятых, но ничего больше не нашла. Только в альбоме во-

семьдесят девятого года, на странице с преподавателями, была фотография молодой женщины с прозрачными светлыми глазами и тёмными волосами, ещё не седыми. «Штерн Агния Львовна. Мнемоника. Первый год в лицее».

Я показала её Глебу. Он посмотрел, хмыкнул и промолчал.

Когда мы поднимались по лестнице из подвала, он вдруг остановился на ступеньке.

— Ольхина.

— Что?

— Вчера, в библиотеке, — он не оборачивался. — Ты держалась за верёвку так, будто сейчас упадёшь. Белая была, как стена. Что ты там увидела?

Я замерла на ступеньке ниже.

Сказать? Ему? Сыну человека, которого обвиняют в убийстве? Мальчишке, с которым никто не разговаривает? Который, может быть, и сам...

— Голова закружилась, — ответила я. — Высота. Я боюсь высоты.

Глеб обернулся. Посмотрел на меня сверху вниз в полутьме лестницы.

— Врёшь, — заметил он спокойно. — Ладно. Не моё дело. Он пошёл дальше, наверх. Я смотрела ему в спину.

* * *

Соня сидела на своей кровати по-турецки, с паяльником, выключенным на этот раз, и с какой-то платой на коленях.

Когда я вошла, она подняла голову и сразу отложила плату.

— Ты была в подвале, — она потянула носом. — Пахнешь мышами. И у тебя лицо, как будто ты видела привидение.

— Соня, — я села на свою кровать, напротив неё. — Что такое Ночь памяти?

Она замерла. Потом медленно положила плату на тумбочку.

— Кто тебе сказал?

— Никто. Нашла в архиве. — Я помолчала, — Алиса погибла в Ночь памяти. Да?

Соня долго молчала. Потом встала, подошла к двери, выглянула в коридор, закрыла дверь и для верности придвинула к ней стул.

— Это традиция, — заговорила она шёпотом, вернувшись на кровать. — Очень старая. С самого основания, говорят. Накануне выпускных экзаменов, в ночь на пятнадцатое мая, выпускники ходят по лицу со свечами. Всю ночь. По всем этажам, по библиотеке, по галереям. И каждый должен... — она запнулась. — Каждый должен оставить что-нибудь. Плохое. Страх. Обиду. Стыд. Что-то, что не хочешь брать с собой во взрослую жизнь. Подходишь к какой-нибудь старой вещи — к статуе, к двери, к портрету, — кладёшь на неё руку и говоришь по-латыни: «Хочу забыть». И будто бы забываешь.

Oblivisci volo. Девушка у бронзового льва. Её слёзы на кольце.

У меня похолодели пальцы.

— И что, правда забывают?

— Да ну, — Соня махнула рукой, но как-то неуверенно.

— Это же просто традиция. Вроде как монетку в фонтан бросить. Младшие на это смотрят из окон, им нельзя участвовать. Я в прошлом году смотрела. Красиво. Огоньки по всему острову, — она помолчала. — А в этом году, после Алисы, Долгов Ночь памяти запретил. Совсем. Навсегда. Сказал, что это пережиток и что из-за него погиб человек.

— Из-за традиции?

— Ну, так говорят. Что она в ту ночь пошла одна на третий ярус библиотеки, к статуе, оставить что-то своё. И там встретила Ведерникова, — Соня обхватила колени руками. — Варя, ты зачем про это спрашиваешь? Ты что, расследуешь?

— Пишу выпускную, — ответила я. — Про историю лица.

Соня посмотрела на меня очень внимательно. Совсем не так, как смотрела обычно — не весело, не болтливо. Серьёзно.

— Будь осторожна, — проговорила она тихо. — Алиса тоже писала выпускную про историю лица.

* * *

ЖУРНАЛ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ

Запись 2. 3 сентября, вечер

Найдено в архиве:

— Альбом выпуска 1994 года. 22 выпускника. Среди них

— О. Ольхина.

— Портрет И. Залесской в траурной рамке. Погибла 14.05.1994, «в Ночь памяти».

— Газетная вырезка, «Сельгинский вестник», 17.05.1994.

Версия: несчастный случай. Падение с колокольни.

— Фото А. Л. Штерн, 1989 г., первый год работы.

Вопросы:

1. Ночь памяти — традиция выпускников, ночь на 15 мая: «оставить» плохое воспоминание у старой вещи («Oblivisci volo»). Запрещена Долговым после гибели А. Ренн. Почему о ней молчат в правилах?

2. Почему А. Ренн хранила у себя копию этой вырезки?

3. Почему обе девушки погибли 14 мая?

4. Почему мама мне никогда не говорила?

Для себя (не для журнала):

Г. Ведерников тоже ищет. Не знаю, можно ли ему доверять.

Не знаю, можно ли доверять мне.

Глава четвёртая. Интервью

ЖУРНАЛ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ

Запись 3. 5 сентября

Для раздела «Лицей в лицах: воспоминания» начинаю серию интервью с учениками и сотрудниками. Записываю на диктофон, расшифровываю сама. Все интервьюируемые дали согласие на запись.

Почти все.

* * *

РАСШИФРОВКА ИНТЕРВЬЮ 1

Софья Пак, 10 класс. 5 сентября, 21:15, комната 14

В. О.: Запись идёт. Скажи, как тебя зовут и сколько ты учишься в лицее.

С. П.: Софья Пак, Соня. Третий год. Слушай, а зачем это всё? Мы же в одной комнате живём, ты меня каждый день видишь.

В. О.: Для журнала. Так положено. Расскажи, пожалуйста, про Алису Ренн.

С. П.: Ой. Ты же говорила, что пишешь про историю лицея.

В. О.: Алиса тоже часть истории лицея.

С. П.: (пауза) Ладно. Что рассказать?

В. О.: Какой она была в последние недели перед четырнадцатым мая?

С. П.: Странной. Ну, то есть она всегда была странной, но тогда — особенно. Перестала спать. Я просыпалась в три, в четыре — она сидит за столом с лампой и что-то пишет. Или читает. Ходила в архив каждый день, до самого закрытия. Похудела. Один раз, я помню, сожгла какие-то бумаги прямо в раковине, в ванной, и потом весь этаж пах горелым, а Долгов искал, кто курил.

В. О.: Что за бумаги?

С. П.: Не знаю. Я спросила — она сказала: «Черновики». И посмотрела так, что я больше не спрашивала.

В. О.: Она с кем-нибудь ссорилась тогда?

С. П.: С Кирой. Громко. Где-то за неделю до. В коридоре. Я слышала только конец — Кира кричала: «Ты с ума сошла, тебя сожрут!» И убежала. Потом они помирились, вроде. Или сделали вид.

В. О.: А с Ведерниковым? С учителем?

С. П.: Он у неё был руководителем выпускной. Она к нему ходила на консультации. Один раз вернулась злая, сказала: «Он трус». Больше ничего не сказала.

В. О.: Что было в ночь на пятнадцатое мая?

С. П.: (долгая пауза) Она ушла в одиннадцать сорок. Я не спала, смотрела в окно на огоньки — младшим нельзя было выходить. Она надела форму, взяла свечу в подсвечнике и книгу. Какую — не видела, толстую, в тёмной обложке. У двери обернулась и спросила... спросила одну странную вещь.

В. О.: Какую?

С. П.: «Соня, если человек забыл, что сделал, — он виноват?»»

В. О.: И что ты ответила?

С. П.: Ничего. Я не поняла вопроса. Она подождала, улыbnулась как-то... криво. И ушла. А в начале третьего я проснулась от того, что кто-то кричал внизу. Потом побежали по коридору. Потом колокол ударил, тревожный. А потом... потом всё.

В. О.: Соня, ты плачешь.

С. П.: Выключи. Пожалуйста. Выключи эту штуку.

(Запись прервана.)

* * *

Я выключила диктофон и села рядом с ней на кровать. Соня плакала тихо, вытирая лицо рукавом свитера с оленями, и злилась на себя за то, что плачет.

— Мы с ней даже не дружили, — бормотала она. — Почти не разговаривали. Два года в одной комнате, а я не знала, какой у неё любимый цвет. А она меня лечила, когда я болела. И спросила меня, а я не ответила. Если бы я ответила, может, она бы...

— Ты не виновата.

— Я знаю, — Соня шмыгнула носом. — Но это не помогает.

Я не стала спорить. Это действительно не помогает. Я знала по себе.

* * *

РАСШИФРОВКА ИНТЕРВЬЮ 2

**Кира Рябинина, 11 класс. 6 сентября, 16:40, оранже-
рея**

В. О.: Спасибо, что согласилась. Запись идёт.

К. Р.: Я не соглашалась. Ты меня тут поймала. Это разные вещи.

В. О.: Тогда я выключу.

К. Р.: Не надо. Пусть пишет. Пусть все слышат. (пауза)
Что тебе нужно, новенькая?

В. О.: Я пишу историю лица. Алиса Ренн...

К. Р.: Алиса Ренн была моей лучшей подругой семь лет, и я не собираюсь обсуждать её с девочкой, которая спит в её кровати.

В. О.: Меня туда поселили.

К. Р.: Тебя туда поселили. Конечно. (пауза) Слушай. Хочешь историю — вот она. Алиса была лучшей. Она соби-
ралась в Кембридж, на классическую филологию. У неё бы-
ли все шансы. Ей не хватало только рекомендации от попе-
чительского совета. А Ведерников, её руководитель, топил
её работу. Придирался. Заставлял переписывать. Они руга-
лись. Вся школа знала. В Ночь памяти она пошла к нему раз-
бираться, на третий ярус библиотеки, и он её толкнул. Ко-
нец истории.

В. О.: Откуда ты знаешь, что она пошла к нему?

К. Р.: Она мне сказала.

В. О.: Когда?

К. Р.: (пауза) Вечером. Перед тем как идти.

В. О.: Полиции ты это говорила?

К. Р.: Конечно.

В. О.: А почему вы поссорились за неделю до этого? Соня слышала, как ты кричала: «Тебя сожрут».

К. Р.: (долгая пауза) Выключи.

В. О.: Кира...

К. Р.: Я сказала — выключи. Или я разобью эту штуку о горшок с лимоном.

(Запись прервана.)

* * *

Она не разбила. Просто встала, отряхнула юбку от земли — она пересаживала в оранжерее какие-то колючие кактусы, это была её обязанность по дежурству, — и посмотрела на меня сверху вниз.

— Ты ничего не понимаешь, — проговорила она тихо. Без злости. Скорее устало. — Ты здесь неделю. Ты не знаешь, как тут всё устроено. Кто за кем стоит. И лучше не узнавай.

— Почему?

— Потому что Алиса узнала, — Кира отвернулась к кактусам. — Иди, новенькая. Пиши свою историю. Про основателя, про портреты, про столетие. Не лезь.

Я пошла. У двери оранжереи обернулась. Кира стояла неподвижно, спиной ко мне, и в руке у неё был горшок с крошечным кактусом. Она сжимала его так, что, наверное,

кололо пальцы. И не замечала.

* * *

Агния Львовна поймала меня в коридоре западного крыла, у окна, выходящего на озеро. Она стояла там, будто ждала, сложив руки за спиной, и смотрела на воду.

— Варвара, — она не обернулась. — Как продвигается ваша работа?

— Хорошо. Начала интервью.

— Я слышала, — Агния Львовна наконец повернула голову. — Софья Пак плакала вчера в лаборатории. Кира Рябикина только что прошла мимо меня с лицом человека, который хочет кого-нибудь убить, — она помолчала. — Интервью — прекрасный метод, Варвара. Живые голоса, личные воспоминания. Но не все любят, когда их память записывают на плёнку. Память — вещь интимная. Особенно здесь.

— Почему особенно здесь?

Агния Львовна долго смотрела на меня прозрачными светлыми глазами. Потом чуть улыбнулась.

— Потому что здесь её учат, — ответила она. — А всё, чему учат, рано или поздно начинают использовать, — она отвернулась к окну. — Продолжайте, Варвара. Только помните: вы пишете историю лица. Не историю одной ночи.

Она ушла, не дожидаясь ответа. Я стояла у окна и смотрела ей вслед, пока стук её каблуков не стих на лестнице.

Откуда она знала, о чём я спрашивала Соню? Соня плакала в лаборатории — ладно. Но Агния Львовна не сказала

«о чём-то». Она сказала «историю одной ночи».

* * *

РАСШИФРОВКА ИНТЕРВЬЮ 3

Ян Галанин, 11 класс, староста лицея. 6 сентября, 19:30, комната старост, восточное крыло, 2 этаж

В. О.: Запись идёт.

Я. Г.: Отлично. Мне всегда было интересно, как звучит мой голос со стороны. Спрашивай.

В. О.: Ты знаешь, что я пишу работу по истории лицея?

Я. Г.: Знаю. Агния Львовна говорила. Она считает, что у тебя хорошая голова. Она это редко говорит про кого-то.

В. О.: Я хотела спросить про Алису.

Я. Г.: (пауза) Я так и думал.

В. О.: Если тебе тяжело...

Я. Г.: Нет. То есть да, тяжело. Но нормально. Спрашивай. Мне... мне, может быть, даже нужно об этом говорить. Со всеми остальными нельзя. Они либо жалеют, либо боятся.

В. О.: Какой она была?

Я. Г.: Яркой. Знаешь, как бывает: человек входит в комнату — и все поворачиваются. Даже если она молчала. Она была умнее меня. Умнее всех нас. И злее. (смеётся) Она бы меня убила за то, что я это сказал. Она не любила, когда про неё говорили «злая». Говорила — «честная». Ей казалось, что это одно и то же.

В. О.: Вы были вместе?

Я. Г.: Два года. С девятого класса. Все думали, что поже-

нимся после университета. Я тоже думал.

В. О.: Что было в Ночь памяти?

Я. Г.: (долгая пауза) Мы ходили со свечами. Все выпускники. Как положено. Я был с... с остальными старостами, мы шли по восточному крылу. Алиса с нами не пошла. Сказала, что ей надо в библиотеку, одной. Я хотел пойти с ней. Она не разрешила. Сказала: «Это моё». Я подумал — она хочет что-то оставить. Ну, знаешь, по традиции. Что-то личное. Я не стал настаивать.

В. О.: А потом?

Я. Г.: Потом мы закончили около часа ночи. Я пошёл к себе. Лёг. Заснул. Проснулся от колокола. (пауза) Остальное ты знаешь.

В. О.: Ты веришь, что это сделал Ведерников?

Я. Г.: Я не знаю, во что я верю. Его нашли рядом с ней. В два часа ночи. Он сказал, что она сама попросила его прийти. Что хотела отдать ему что-то важное. Что он пришёл, а она уже... (пауза) Полиция ему не поверила. Потом поверила наполовину. Отпустили. Я не знаю. Правда не знаю. Иногда мне кажется, что я... что я должен помнить что-то. Что-то важное. И не могу.

В. О.: Что ты имеешь в виду?

Я. Г.: Не знаю. (смеётся) Видишь, я уже сам не знаю, что говорю. Агния Львовна сказала бы, что это горе играет с памятью. Так бывает. Мозг защищается.

В. О.: А её телефон? Его нашли?

Я. Г.: Нет. Полиция искала везде. Не нашли. Это тоже против Ведерникова, говорят: мог забрать, чтобы уничтожить переписку. (пауза) Слушай, Варя. Можно я задам вопрос?

В. О.: Да.

Я. Г.: Зачем тебе всё это? Честно. Не для журнала.

В. О.: (пауза) Я сплю в её комнате.

Я. Г.: (долгая пауза) Да. Я понимаю.

(Конец записи.)

* * *

После того как я выключила диктофон, Ян ещё долго сидел в кресле у окна комнаты старост, не говоря ни слова. Комната была уютной — с камином, с книжными полками, с кожаными креслами и картой острова на стене, старинной, раскрашенной вручную. За окном садилось солнце, и озеро становилось оранжевым, потом розовым, потом лиловым.

Ян сидел и тёр висок. Левый. Там, где седая прядь. Медленно, круговыми движениями, будто у него болела голова.

— Болит? — спросила я.

— Что? — он опустил руку. — А. Нет. Привычка. Вот здесь иногда тянет. Будто сквозняк, — он усмехнулся. — Врач в Петрозаводске сказал, что это стресс. Выписал витамины. Мама настаивает, чтобы я пил.

Он встал, подошёл к окну. Посмотрел на озеро.

— Она бы тебе понравилась, — проговорил он, не оборачиваясь. — Алиса. Ты бы ей тоже. Вы похожи. Обе лезете

туда, куда не просят.

— Это плохо?

— Не знаю, — Ян обернулся и улыбнулся мне той же усталой улыбкой, которую я видела в первый день. — Для неё кончилось плохо.

* * *

Глеб ждал меня на лодочном причале в одиннадцать вечера.

Это было запрещено. Всё было запрещено: выходить после отбоя, спускаться к озеру, приближаться к лодочному сараю. Я перелезла через подоконник в туалете на первом этаже, пересекла тёмный сад, мимо оранжереи, в которой ещё горел свет, и по мокрой от росы траве спустилась к воде.

Он сидел на краю причала, свесив ноги, и курил. Сигарета вспыхивала оранжевой точкой в темноте.

— Ты не придёшь, — заметил он, не оборачиваясь, когда я подошла. — Я так думал.

— Пришла.

— Вижу, — он подвинулся на досках, освобождая место. — Садись. Не бойся, Тимофеич в это время спит. Он всегда в десять ложится, как часы. Остров весь мой до шести утра.

Я села рядом. Доски были влажными и холодными. Озеро лежало перед нами чёрное, неподвижное, с отражёнными в нём звёздами.

— Ты не куришь, — Глеб протянул мне пачку. Не вопрос.

— Не курю.

— Правильно, — он затушил свою сигарету о доски и спрятал окурок в карман. — Я тоже не курю. Это отцовские. Он бросил, когда его выпустили. Сказал, что в изоляторе только об этом и думал, а потом вышел — и не захотелось. Пачка осталась.

Мы помолчали.

— Ты хотела договориться, — Глеб наконец посмотрел на меня. — Записка под дверью. «Есть разговор. Причал. 23:00». Очень таинственно. Я оценил.

— У тебя есть протоколы. Опись вещей. Акты. Всё, что полиция вернула в лицей. У меня есть доступ к архиву, к ученикам, к Агнии Львовне. И ко всем, с кем ты не можешь поговорить, потому что с тобой не разговаривают.

— Ну?

— Я хочу знать, что случилось с Алисой Ренн. А ты хочешь, чтобы твой отец перестал быть убийцей, — я посмотрела на него. — Мне кажется, это одно и то же.

Глеб долго молчал. Потом отвернулся к озеру.

— Почему тебе это надо? — спросил он. — Правду. Без «сплю в её комнате». Я слышал, как ты это Галанину говорила, через дверь. Красиво. Но мало.

Я подумала, что сказать.

Правду я сказать не могла. Не ему. Не сейчас. Что я касаюсь вещей и вижу чужое. Что на бронзовом льве у входа живут чужие слёзы, а на перилах библиотечной лестницы — чьё-то падение. Что моя мама видела то же самое и её запер-

ли в больнице.

— Моя мать училась здесь, — вместо этого начала я. — В том году, когда погибла Ирина Залесская. Четырнадцатого мая, в Ночь памяти. Через тридцать лет в ту же ночь погибает Алиса Ренн, которая держала у себя вырезку про Залесскую. А моя мать после этого лицея всю жизнь... — я запнулась. — Всю жизнь была больна. И никогда ни словом не обмолвилась, что здесь училась. Я хочу знать почему.

Глеб смотрел на меня в темноте. Долго.

— Ладно, — проговорил он наконец. — Это я понимаю. Это больше, чем «сплю в её комнате».

Он полез во внутренний карман пиджака и достал сложенный вчетверо лист. Развернул. Посветил на него телефоном — у него, оказывается, имелся свой. Второй, контрабандный, без сим-карты, только для фонарика и фотографий.

— Протокол осмотра места, — он протянул мне лист. — Читай. Я перерисовал схему.

Я наклонилась.

Схема была нарисована от руки, карандашом, очень аккуратно. Круг — библиотека. Спираль — лестница. Три кольца — ярусы. На нижнем, в центре, крестик — «тело». На третьем ярусе, у ниши, — кружок с подписью «свеча (потушена), подсвечник». Рядом — квадратик: «бюст (Мнемосина), свежая царапина на постаменте». И ещё одна пометка, мелко, на втором ярусе, у самой лестницы: «книга (? — в описи отсутствует)».

— Она шла со свечой и книгой, — проговорила я. — Так Соня сказала. Книгу нашли?

— Нет, — Глеб покачал головой. — Свечу нашли наверху, у статуи. Подсвечник — там же. А книги нет. Ни в описи, ни в протоколе, ни в вещах. Её никто не искал, потому что о ней не знали. Соня полиции про книгу не говорила. Её не спрашивали.

— А телефон?

— Тоже нет, — он сложил лист. — И ещё. Отец пришёл в библиотеку в два ноль пять. Нашёл её. Побежал звать на помощь. Ударил в колокол. Сторож, Тимофеич, прибежал первым — в два пятнадцать. Тимофеич потом на допросе сказал одну вещь, которую следователь записал и подчеркнул, а потом, видимо, забыл. Вот.

Он развернул второй лист. Ксерокопия протокола допроса. Почерк неразборчивый, следовательский. И одна строка, обведённая карандашом — уже, видимо, Глебом:

«Свидетель Савельев С. Т. показал, что около 01:40, совершая обход территории, видел на причале лодку, которой там не должно было быть. Лодка была без огней. К моменту его возвращения на причал (около 02:30) лодки не было».

— Лодка, — я подняла голову.

— Лодка, — Глеб кивнул. — В час сорок. Без огней. За полчаса до того, как отец нашёл тело. Кто-то приплыл на остров ночью и уплыл до утра. И никого это не заинтересовало.

Озеро лежало перед нами чёрное и молчаливое. Где-то да-

леко, на том берегу, мигал огонёк — может быть, Сельга. А может, просто звезда, упавшая в воду.

— Договорились, — проговорила я.

— Договорились, — Глеб протянул мне руку.

Я пожала её. Его ладонь была сухой, тёплой, шершавой. И когда я коснулась её — ничего. Совсем ничего. Ни холода, ни чужих глаз.

Просто рука. Просто мальчишка на мокром причале посреди ночи.

Почему-то от этого мне стало легче.

Глава пятая. Восточное крыло

В первую субботу сентября, в шесть вечера, на смотровой площадке колокольни стояла очередь.

Это было похоже на очередь в магазин в Ковде перед праздником: сорок человек на узкой винтовой лестнице, плечом к плечу, все в тёмно-синих пиджаках, все с телефонами в руках, только что полученными у дежурного учителя под роспись. Все смотрят на экраны и ждут, когда появится связь. Телефоны начинали пищать где-то на сотой ступени — один за другим, как птенцы, — и тогда очередь оживала: кто-то смеялся, кто-то уже кричал в трубку «мама, я тебя не слышу».

Смотровая площадка опоясывала башню снаружи, под самым куполом. Узкая, с каменным парапетом по грудь и с видом на всё озеро — от острова до горизонта во все стороны. Ветер здесь дул так, что рвал волосы, и все стояли спиной к нему, прикрывая телефоны ладонями.

Над площадкой, за железной решёткой, запертой на тяжёлый замок, начиналась лестница наверх — к колоколу. Я видела его сквозь прутья: огромный, тёмно-зелёный от старости, с широкой юбкой, по краю которой шли выпуклые буквы. Язык колокола висел неподвижно, толстый, как бревно.

Я набрала отца. Длинные гудки. Потом треск. Потом его голос — далёкий, рваный, с эхом, будто он говорил из бочки.

— Варька? Слышишь? Я в Мурманске, на ремонте... через неделю уходим... ты как там?

— Нормально, пап. Хорошо.

— Что? Не слышу... кормят?

— Кормят.

— Ну и ладно... — треск, шорох, — ...мать бы... — и связь оборвалась.

Я стояла, прижав телефон к уху, и слушала тишину. «Мать бы». Что — мать бы? Гордилась? Испугалась? Не пустила?

Я набрала снова. «Абонент недоступен».

Я опустила телефон и, сама не зная зачем, положила свободную руку на прутья решётки, за которой начиналась лестница к колоколу.

Холод.

Не металлический — другой. Тот, что я чувствовала у лба и на перилах библиотеки, только сильнее, гуще, будто сверху, от колокола, по лестнице стекала невидимая ледяная вода. Ни картинок, ни голосов. Только холод и тяга — будто меня тянут за руку, вверх, туда, к тёмной бронзе.

Я отдёргнула руку.

— Не ловит? — рядом со мной стоял Ян Галанин. С телефоном, поднятым над головой. — Здесь самое плохое место. Иди к западной стороне, там лучше. Вон туда, к углу.

— Спасибо.

— Не за что, — он опустил телефон и посмотрел на экран. Сообщения, видимо, не пришли. — Мама опять занята, —

проговорил он без выражения. — Она всегда занята по суббботам. Депутатские приёмы.

Экран его телефона погас, а потом снова загорелся, и я увидела заставку. Фотография: девушка со светлыми распущенными волосами, смеётся, запрокинув голову, на фоне озера. Алиса.

Ян заметил, куда я смотрю. Быстро повернул телефон экраном к себе.

— Никак не поменяю, — пробормотал он. — Всё собираюсь.

Он отошёл к восточной стороне площадки и встал там, спиной ко всем, глядя на озеро.

* * *

Огоньки появились в саду в следующую пятницу, в половине первого ночи.

Я не спала. Я теперь почти не спала — лежала на кровати Алисы, смотрела в потолок и слушала, как дышит дом. «Мнемон» по ночам жил своей жизнью: скрипел, вздыхал трубами, постукивал чем-то в стенах, будто кто-то медленно, терпеливо простукивал кладку, пытаюсь найти пустоту. Соня говорила, что это остывают батареи. Я ей не верила.

Огоньки я увидела случайно, когда встала попить воды. Окно в нише выходило на озеро, но если прижаться лбом к холодному стеклу и посмотреть вправо, можно было увидеть край сада и угол восточного флигеля. Там, между тёмными кустами сирени, двигались огни. Семь маленьких жёлтых то-

чек. Они плыли по дорожке ровной цепочкой, одна за другой, медленно, как процессия.

Свечи.

Цепочка дошла до угла флигеля и исчезла. Будто её проглотила стена.

Я стояла у окна, прижавшись лбом к стеклу, и слушала, как колотится сердце. Потом посмотрела на Соню. Она спала, раскинувшись, в своём свитере с оленями, и тихонько посапывала.

Я надела форменную юбку, свитер и носки. Ботинки взяла в руки.

* * *

Западное крыло с восточным соединял длинный коридор второго этажа — «галерея портретов», как её называли. Днём здесь было светло: огромные окна на одну сторону, портреты выпускников и преподавателей — на другую. Ночью окна превращались в чёрные зеркала, а лица на портретах — в бледные пятна, которые следили за тобой глазами.

Я шла в носках по холодному паркету, держа ботинки в руке, и считала окна. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Под ногами не скрипело ни одной половицы — я выучила за неделю, куда наступать.

Галерея кончилась дверью. Стеклойной, в деревянной раме. За ней — лестница восточного крыла, ведущая вверх, на третий этаж. На двери висела табличка: «Посторонним вход воспрещён». Я толкнула. Не заперто.

Третий этаж восточного крыла был закрыт для учеников. Так говорили правила, которые читал Долгов. Здесь никто не жил. Длинный коридор, двери по обе стороны — пыльные, без номеров. Пахло нежилым: старым деревом, мышами, холодом. И ещё — воском. Горячим воском свечей.

В конце коридора, под дверью, светилась полоска.

Я подкралась. Медленно, по стенке, затаив дыхание. Дверь была двустворчатая, высокая, тёмного дерева, с медными ручками в виде переплетённых змей. Над ней на каменной притолоке было вырезано: «CONCLAVE MEMORIAE».

Палата памяти.

Из-за двери доносились голоса. Тихие, приглушённые, не разобрать слов. Потом — тишина. Потом один голос, отчётливо, по-латыни:

— Pono in loco.

Кладу на место.

Я опустилась на колени и прижалась глазом к замочной скважине.

* * *

Зал был круглым. Это я поняла сразу, хотя видела только часть — узкую щель, обрамлённую тёмным металлом. Круглый зал с высоким сводом, расписанным звёздами, и с нишами по стенам — десятки ниш, может быть, сотни, в несколько рядов, до самого купола, как соты. В каждой нише что-то стояло. Шкатулка. Камень. Статуэтка. Подсвечник. Кни-

га. Всё — разное, всё — старое.

Посреди зала, на каменном полу, стояли семеро. В тёмных плащах поверх формы, со свечами в руках. Я узнала Яна — по росту, по светлым волосам, по седой прядке, блестящей в свете свечи. Узнала Киру — по острому профилю, по коротким тёмным волосам. Остальных не знала.

Чуть в стороне, у стены, сидела в кресле восьмая. Не в плаще — в своём обычном тёмно-сером платье, с руками, сложенными на коленях.

Агния Львовна.

У одной из ниш, в нижнем ряду, стояла девушка. Невысокая, полненькая, с косичками, — я видела её в столовой, у окна, среди тех семерых. Она держала правую руку на чём-то, что стояло в нише, — на маленькой фарфоровой птичке, кажется. Свеча в её левой руке дрожала.

— *Pono in loco*, — повторила она. Голос тоже дрожал. — *Oblivisci volo*.

Ян стоял рядом с ней. Положил ей руку на плечо.

— Пройди его до конца, Полина, — произнёс он негромко, мягко. — Не останавливайся. Как учили. От первой секунды до последней. Потом отпусти.

Девушка закрыла глаза. Её губы шевелились. Я не слышала слов.

А потом я увидела.

Не глазами. Не так, как видишь свет или тени. По-другому. Я увидела, как от её руки, лежащей на фарфоровой птич-

ке, что-то течёт. Не свет. Не вода. Что-то прозрачное и холодное, как сквозняк зимой, когда открывают дверь на мороз. Оно стекало с её пальцев в нишу и исчезало в фарфоре, и птичка — я видела это сквозь замочную скважину, сквозь три метра темноты — на мгновение будто покрылась инеем.

Девушка открыла глаза.

Из её левой ноздри медленно потекла тонкая струйка крови.

— Что ты сейчас отдала? — Ян наклонился к ней. — Скажи мне.

Девушка — Полина — смотрела на него. Глаза у неё были пустыми, растерянными, как у ребёнка, которого разбудили посреди ночи.

— Не знаю, — проговорила она. И вдруг улыбнулась. Медленно, удивлённо, светло. — Не знаю. Я не помню. Там... там пусто. Хорошо так. Как будто окно открыли.

— Хорошо, — Ян протянул ей платок. — Вытри нос. Ты молодец. Добро пожаловать.

Остальные шестеро подняли свечи. Все вместе, одновременно, как по команде. И произнесли — тихо, ровно, в один голос:

— Quod hic ponitur, hic manet.

Что здесь положено, здесь остаётся.

Агния Львовна поднялась из кресла.

— Хорошо, — её голос звучал устало. — На сегодня всё. Галанин, проводи Дружинину. Ей надо лечь. Остальные —

по комнатам. И помните: в библиотеку никто не ходит. Ни сегодня, ни завтра, ни до особого распоряжения. Это не просьба.

Я отшатнулась от скважины.

* * *

Я не помню, как бежала обратно. Помню только чёрные окна галереи, мелькающие справа, и бледные лица на холстах — слева, и свои ботинки в руке, и холод паркета под ногами в носках.

Я свернула не туда.

Вместо того чтобы спуститься в западное крыло, я в темноте проскочила лестницу и выбежала в крытый переход, ведущий из главного корпуса в библиотеку. Остановилась, только когда упёрлась в стеклянную дверь. Библиотека.

Дверь была не заперта. Здесь, кажется, ничего не запирали по-настоящему. Только запрещали.

Я толкнула её и вошла.

Внутри было темно — почти. Сквозь стеклянный купол лился лунный свет, белый, холодный, и в нём винтовая лестница поднималась от пола к потолку, как скелет огромного животного. Полки уходили во тьму. Пахло пылью и бумагой.

«В библиотеку никто не ходит. Ни сегодня, ни завтра, ни до особого распоряжения».

Почему?

Я стояла у подножия лестницы и смотрела вверх. На третий ярус. На нишу между стеллажами, где в лунном свете

белела мраморная фигура. Мнемосина. Богиня памяти, мать девяти муз. Так было написано на табличке у постамента — я прочитала, когда приходила днём.

Ниши в зале на третьем этаже восточного крыла. Фарфоровая птичка, покрывшаяся инеем. «Pono in loco». Девушка у бронзового льва, которая плакала и шептала «oblivisci volo».

Здесь кладут на место. Здесь забывают.

А Алиса Ренн в Ночь памяти пошла одна, со свечой и книгой, в библиотеку. К статуе.

Я начала подниматься.

* * *

Чугунные ступени гудели под ногами, как бы я ни старалась ступать тихо. Первый ярус. Второй. Красная верёвка поперёк лестницы, табличка «Вход воспрещён». Я перешагнула через неё.

Третий ярус.

Галерея была узкой — двое разминутся с трудом. Перила низкие, по пояс. За перилами — пустота, пролёт, три этажа вниз, до чёрно-белого каменного пола, на котором лунный свет лежал квадратами. Я старалась не смотреть вниз.

Бюст стоял в нише между двумя высокими стеллажами. Мраморная женщина в натуральную величину — голова, плечи, складки хитона на груди. Высокая причёска, перевитая лентами. Опущенные глаза. Полуулыбка. Мрамор в лунном свете казался живым, тёплым, как кожа.

На постаменте, у самого основания, была царапина. Свежая — светлая на сером. Длинная, кривая, будто чем-то металлическим провели наискось. Глеб отметил её на своей схеме: «свежая царапина на постаменте».

Я подошла вплотную. Протянула руку.

И остановилась.

Я не знала, что будет. Лев у входа — это были секунды. Перила лестницы — меньше секунды. Но здесь, у этой статуи, было по-другому. Здесь даже воздух был холоднее. Будто от мрамора тянуло сквозняком. Будто там, внутри, было что-то, что ждало.

Я положила ладонь на мраморное плечо.

* * *

Свет свечи.

Неровный, дрожащий, тёплый. Он падает снизу, на лицо девушки, стоящей передо мной. Светлые волосы распущены по плечам. Глаза злые, блестящие. Губы сжаты. Она красивая — так, что больно смотреть, — и она в ярости.

Я знаю это лицо. Я видела его на фотографиях в коридоре, в траурной рамке у входа в столовую.

Алиса.

Мои руки — не мои, чужие, крупнее моих, сильнее — сжимают что-то. Тетрадь? Книгу? Я не вижу, я не могу опустить взгляд, мне доступно только то, что видят эти глаза, а они смотрят на неё. И сердце в этой чужой груди колотится так, что больно.

— Ты знаешь, — голос Алисы, низкий, хриплый от злости. Он звенит под куполом. — Ты всё это время знал. Ты знаешь, что сделала твоя мать.

Чужие губы открываются. Чужой голос — я его не слышу, я его чувствую, вибрацию в чужом горле — говорит что-то. Не разобрать. Алиса делает шаг вперёд. Ещё шаг. Её свеча...
— Эй!

Мир дёрнулся.

Кто-то схватил меня за плечо и рванул назад, от статуи. Я потеряла равновесие, ударилась спиной о стеллаж, и сверху на меня посыпались книги. Мрамор под ладонью исчез. Свет свечи исчез. Алиса исчезла.

Я сидела на полу галереи, среди упавших книг, в лунном свете, и не могла дышать. Сердце колотилось — моё, не чужое, но так же больно. По подбородку текло что-то тёплое. Я подняла руку и потрогала. Кровь. Из носа.

Надо мной стояла Кира Рябинина.

В тёмном плаще поверх формы. Со свечой в руке — погашенной. С лицом белым, как мрамор за её спиной. Она смотрела на меня сверху вниз так, будто увидела призрак.

— Ты... — её голос сорвался. — Ты что делала?

Я не могла ответить. Я вытирала кровь рукавом свитера и пыталась вдохнуть.

Кира опустилась передо мной на колени. Быстро, резко. Схватила меня за подбородок, повернула моё лицо к лунному свету. Посмотрела мне в глаза — внимательно, жадно,

так, как смотрят на что-то очень важное и очень страшное.

— У тебя кровь носом, — прошептала она. — Ты не клала. Ты не могла класть, ты даже формулы не знаешь. Ты... — она запнулась. — Ты брала. Да? Ты её слышала. Алису. Ты слышала её.

Я молчала.

Кира отпустила мой подбородок. Медленно села на пятки. Смотрела на меня, и в её глазах было что-то, чего я не понимала. Не злость. Не страх. Что-то похожее на надежду — отчаянную, почти безумную.

А потом это исчезло. Лицо у неё стало жёстким, закрытым, как дверь на замке.

— Уходи, — проговорила она тихо. — Сейчас же. Через переход, по галерее, к себе. Никому ни слова. Никому, слышишь? Ни Яну, ни Агнии, ни своей болтливой соседке. Если они узнают, что ты можешь... — Кира поднялась на ноги. — Если они узнают, ты отсюда не уедешь. Никогда.

— Кто «они»? — я наконец смогла вдохнуть. — Кира, что это было? Что я...

— Уходи! — голос у неё сорвался на свистящий шёпот. Потом отвернулась, подошла к перилам и встала там, спиной ко мне, глядя вниз, в пролёт. Туда, где на чёрно-белом полу лежал лунный свет. — Я подберу книги. Иди.

Я поднялась. Ноги дрожали. Я подобрала свои ботинки, которые уронила, когда падала. Пошла к лестнице. На первой ступеньке обернулась.

Кира стояла у перил. Неподвижно. Свеча в её руке была погашена. И она глядела не вниз — на статую. На мраморную женщину с опущенными глазами, в нише между стеллажами.

И плакала. Беззвучно. Так же, как плакала девушка у бронзового льва.

* * *

Я вернулась в комнату в начале третьего. Соня спала. Я тихо легла на кровать, не раздеваясь, и натянула одеяло до подбородка.

Кровь из носа больше не шла. Но в голове, где-то за правым виском, стучало — тупо, ровно, будто там кто-то медленно простукивал стену.

«Ты знаешь, что сделала твоя мать».

Алиса говорила это кому-то. Кому-то, кто стоял напротив неё на третьем ярусе библиотеки, при свете свечи, в Ночь памяти. Кому-то, чьи руки сжимали книгу. Кто положил это воспоминание в мраморную статую — и забыл.

Я смотрела в потолок. В окне белела луна.

Чья мать?

Мне вдруг стало так холодно, что застучали зубы. Потому что я подумала о своей. О маме, которая училась здесь тридцать лет назад. Которая никогда, ни разу не говорила мне про этот остров. Которая трогала стены и шептала что-то, чего я не понимала.

Что сделала моя мать?

Нет. Глупость. Алиса говорила не со мной. Алиса говори-

ла с тем, чьими глазами я смотрела. Это была не моя память.
Но я лежала и не могла согреться до самого рассвета.

Глава шестая. Паромщик

Сторожка Тимофеича стояла у самого причала, под скалой, — низкая бревенчатая избушка с одним окном и железной трубой, из которой круглые сутки шёл дым. Рядом с ней — лодочный сарай, длинный, тёмный, с воротами на воду. На стене сарая висели сети, вёсла, спасательный круг с полустёртой надписью «Вельмо» и связка ржавых якорей.

Я пришла в воскресенье после обеда, с диктофоном и с банкой малинового варенья, которую выпросила у поварихи в обмен на обещание неделю мыть посуду.

Тимофеич открыл дверь не сразу. Сначала в окне шевельнулась занавеска, потом долго гремел засов. Он стоял на пороге в своём вечном брезентовом плаще, хотя было тепло, и в валенках, и смотрел на меня из-под седых бровей.

— Ольхина, — проговорил он. Не вопрос.

— Я пишу выпускную работу. Историю лица. Можно у вас взять интервью? Вы же здесь дольше всех.

— Дольше всех здесь камни, — Тимофеич посмотрел на банку в моей руке. — Это что?

— Варенье. Малиновое.

Он долго смотрел на банку. Потом посторонился.

— Заходи. Только эту свою машинку не включай пока. Я не люблю, когда меня пишут.

* * *

Внутри сторожки было тесно и жарко. Печка-буржуйка в углу, топчан, покрытый лоскутным одеялом, стол у окна, две табуретки. На стене — фотографии в рамках, пожелтевшие, выцветшие: паромы, лодки, люди на причале. Над столом — икона, маленькая, тёмная, почти неразличимая. Пахло дымом, рыбой и махоркой.

Тимофеич поставил на печку чайник. Достал две кружки, эмалированные, с отбитыми краями. Открыл банку с вареньем, понюхал, кивнул сам себе.

— Хорошее. Это Галя варила, повариха. Она с сорок девятого года тут, — он сел на табуретку напротив меня. — Ну. Спрашивай. Только без машинки.

Я положила диктофон на стол. Не включённым. Пусть видит.

— Вы сказали, что моя мама поднималась по этой лестнице. В первый день, на причале.

— Сказал.

— Откуда вы знаете?

— Лицо, — Тимофеич пожал плечами. — У тебя её лицо. Родинка вот тут, — он ткнул себе пальцем над верхней губой. — И ходишь так же. Голову набок держишь, когда слушаешь. Я как увидел тебя на пристани, так и обмер. Думал — Олька вернулась. Тридцать лет спустя, такая же, — он помолчал. — Потом гляжу: нет. Глаза другие. У Ольки весёлые были. У тебя — нет.

Чайник на печке зашумел. Тимофеич встал, снял его, раз-

лил кипяток по кружкам. Бросил туда по щепотке какой-то травы из жестяной коробки.

— Какой она была? — спросила я. — Здесь.

Тимофеич долго не отвечал. Помешивал ложкой в кружке, смотрел в окно, на озеро.

— Смешливой, — наконец заговорил он. — Всё время смеялась. Её за это ругали — на уроках, в столовой. А она не могла. Как начнёт, так и не остановить. Звонкая была, как колокольчик. — Он отхлебнул чаю. — Их трое было. Не разлей вода. Олька, Иринка Залесская и Ленка Вострикова. Всегда втроём. Иринка — тихая, умная, серьёзная, как маленькая старушка. Ленка — громкая, командирша, всё по-своему. А Олька — между ними, как связка. Без неё бы они передрались давно. С ней — дружили.

Ленка Вострикова. Девушка, которая смеялась в голос на портрете в альбоме. «Vae victis».

— А потом? — я держала кружку обеими руками. Горячая. Обжигала пальцы. Я не отпускала.

— А потом Иринка упала с колокольни, — Тимофеич поставил кружку на стол. Медленно, осторожно, будто она была стеклянная. — В Ночь памяти. Четырнадцатого мая девяносто четвёртого.

* * *

Он рассказывал долго. Я не перебивала.

Ночь памяти в тот год была тёплой, безветренной. Выпускники ходили по лицу со свечами, как положено. Тимо-

феич, тогда ещё не старый, лет сорока с небольшим, делал обход территории, как всегда. В начале второго он увидел свет на колокольне. Не на смотровой площадке — выше. У колокола.

— Туда никому нельзя было, — он покачал головой. — Ни тогда, ни сейчас. Колокол — он особенный. Основатель его велел повесить, когда лицей открывали. Сказал: в колокол никто не поднимается, кроме звонаря. А звонарём был я. Ключ — у меня один. И у директора второй. И всё.

— Вы пошли туда?

— Пошёл. Не сразу — пока дошёл от причала, пока поднялся... — он помолчал. — Я был на середине лестницы, когда колокол ударил. Один раз. Глухо. Не так, как бьют, когда звонят. Будто... будто в него что-то ударилось. Тяжёлое. И потом закричали. Сверху. Девичий крик. Двое. Нет — трое кричали.

Он замолчал. В печке потрескивали дрова.

— Когда я добежал до площадки, там уже никого не было. Решётка к колоколу — открыта. Замок висит на дужке, отпертый. А внизу, во дворе, у подножия башни, лежала Иринка. — Тимофеич отвернулся к окну. — Двадцать метров. Она сразу. Не мучилась. Хоть это.

— А где были остальные? Те, кто кричал?

— Не знаю. Убежали. По внутренней лестнице, наверное, пока я по внешней шёл, — он помолчал. — Утром директор собрал всех выпускников в актовом зале. Спрашивал,

кто был на колокольне. Никто не сознался. Все говорили — мы ходили со свечами по корпусу, ничего не видели и не знаем. Следовательно приехал из Сельги, походил, поспрашивал. Решили — Иринка сама полезла наверх, ради традиции, чтобы оставить у колокола что-то своё. Оступилась. Несчастный случай.

— А вы как думаете?

Тимофеич посмотрел на меня. Долго. Тяжело.

— Я думаю, что ключ от решётки был у меня на поясе. Всю ночь. А второй — у директора в сейфе. — Он отхлебнул чаю. — А замок был отперт.

* * *

— А мама? — я наконец решилась. — Что было с мамой?

Тимофеич долго молчал. Потом встал, подошёл к стене с фотографиями и снял одну. Протёр рукавом стекло. Положил на стол передо мной.

Причал. Этот самый причал, только доски новее, а навес ещё не покосился. На причале — паром «Вельмо», тоже новее, синий, яркий. А на сходнях — девушка. Тёмные волосы, тонкое лицо. В руках — тот самый чемодан, коричневый, с ремнями. Она стоит вполоборота, будто её окликнули, и смотрит прямо в объектив.

Не улыбается.

Глаза у неё пустые. Как у Полины Дружиной в Палате, когда та сказала: «Не помню. Там пусто».

— Это её последний день, — проговорил Тимофеич. —

Через неделю после Иринки. Родители приехали забирать. Я их сфотографировал — у меня тогда «Зенит» был, я всех на память снимал, кто уезжал насовсем. Хобби такое, — он помолчал. — Она меня не узнала. Оля, которая три года каждую субботу ходила ко мне в сторожку чай пить, потому что говорила, что у меня самый вкусный чай на острове. Посмотрела на меня, как на чужого. Вежливо поздоровалась. И села на паром.

Я смотрела на фотографию. На мамины пустые глаза.

— Что с ней случилось?

— Говорили — нервный срыв. После Иринки. Мол, подруга погибла, на её глазах почти, вот и... — Тимофеич покачал головой. — Только я в эти срывы не верю. Я видел, как после смерти плачут, кричат, не спят. А она не плакала. Она будто и не помнила, что Иринка была. Будто кто-то взял и вытер.

Вытер.

«Pono in loco. Oblivisci volo».

Фарфоровая птичка, покрытая инеем. Кровь из носа. «Там пусто. Хорошо так».

Меня затошнило. Я поставила кружку на стол, чтобы не уронить.

— А Ленка? — спросила я. Голос не слушался. — Вострикова?

— А Ленка доучилась, — Тимофеич взял фотографию и повесил обратно на стену. — Сдала экзамены, получила зо-

лотую медаль. Уехала в Петрозаводск. Потом в Москву, — он помолчал. — Она теперь большой человек. Приезжает сюда раз в год, на попечительский совет. На своём катере. Я её не вожу.

— Как её фамилия теперь?

Тимофеич обернулся от стены. Посмотрел на меня так, будто решал, сказать или нет.

— Галанина, — ответил он. — Елена Андреевна Галанина. Мать того мальчишки, старосты. С седой прядкой.

* * *

Я сидела в сторожке, держа остывшую кружку, и не могла пошевелиться.

Елена Галанина. Председатель попечительского совета. Мать Яна. Женщина, чей фонд оплатил мою стипендию. Лучшая подруга моей мамы и Ирины Залесской. Девушка с цитатой «Горе побеждённым».

Она училась здесь вместе с ними. Она была здесь в ту ночь.

— Она приезжала, — Тимофеич сел обратно на табуретку. — Твоя мать. Один раз. Лет через десять. Ты у неё на руках была, совсем кроха. Года два, может. В красной шапке с помпоном.

Я подняла голову.

— Она приехала в Сельгу на автобусе, — продолжал он. — Пришла на пристань. Я как раз отваливать собирался. Она подошла к сходням, посмотрела на остров. Долго смотрела.

На колокольню. Я ей говорю: «Олька, садись, довезу». А она — головой мотает. И плачет. Стоит, держит тебя и плачет. Не громко. Слёзы текут, и всё. — Тимофеич помолчал. — Потом спросила: «Савва Тимофеевич, колокол ещё висит?» Я говорю: «Куда ему деться». Она кивнула. И ушла обратно на автобус. Больше я её не видел.

— Это было... — я сглотнула. — Когда?

— В мае. Четырнадцатого.

* * *

— Савва Тимофеевич, — я решилась спросить, когда он уже убирал кружки. — А в мае? В эту Ночь памяти? Вы видели лодку на причале. Я читала протокол.

Тимофеич застыл с кружкой в руке. Потом медленно поставил её в таз.

— Читала, значит, — проговорил он, не оборачиваясь. — Ведерниковский сын дал. Больше некому.

Я промолчала.

— Видел, — он вытер руки о штаны. — В час сорок, как в протоколе. Катер. Не наш, не сельгинский. Наши — деревянные, дюралевые, с мотором «Вихрь», за версту слышать. А этот шёл тихо, будто ветер. Нос гладкий, белый. Огней — ни одного. Привязался к третьей свае, где я свою лодку ставлю, когда паром в ремонте. — Тимофеич помолчал. — Я к сторожке пошёл, за фонарём. Думал, контрабандисты, рыбу везут. Вернулся с фонарём — на причале никого. Катер стоит. Пустой. Я постоял, подождал. Тут колокол ударил — тре-

вожный, Ведерников звонил. Я туда. А когда вернулся под утро — катера не было.

— Вы сказали следователю, чей он мог быть?

— Я сказал следователю, что видел катер, — Тимофеич повернулся ко мне. — А чей — не сказал. Потому что не знаю. Таких катеров у нас в Сельге два. Один у главы района. Второй... — он замолчал.

— Второй?

— Второй я сдуру сам разглядывал прошлым летом, когда он у пристани стоял, — Тимофеич смотрел на меня тяжело. — Белый. «Мнемозина» называется. Красиво. На попечительский совет на нём приезжают.

Он больше ничего не сказал. И я не стала спрашивать.

* * *

Я вышла из сторожки, когда уже начинало темнеть.

Тимофеич проводил меня до двери. На пороге остановил — взял за рукав, не сильно, как берут ребёнка, чтобы не убежал.

— Ты вот что, Ольхина, — он смотрел на меня из-под бровей. — Ты пишешь свою работу — пиши. Про историю, про основателя, про портреты. А на колокольню не лазь. Слышишь? И к колоколу руки не тяни. Там нехорошо.

— Почему?

— Потому что я пятьдесят лет звоню в этот колокол, — Тимофеич отпустил мой рукав. — И знаю, как он звучит. А в ту ночь, в девяносто четвёртом, он звучал не так. И с тех

пор — тоже не так. Будто в нём что-то есть. Внутри. Будто он что-то держит и не отпускает. — Он помолчал. — Иди. Скоро стемнеет.

Я пошла. По причалу, по мокрым доскам, к лестнице. На первой ступеньке обернулась. Тимофеич стоял на пороге сторожки и смотрел мне вслед. Потом закрыл дверь.

* * *

Глеб ждал меня у лодочного сарая, за углом, там, где его не было видно из окна сторожки. Он сидел на перевёрнутой лодке и рисовал что-то в блокноте, но, когда я подошла, захлопнул его.

— Ну? — он поднялся. — Ты там три часа сидела. Я замёрз.

— Я тебя не просила ждать.

— Не просила, — согласился он. — Ну?

Я рассказала. Не всё. Не про то, что видела у льва, у статуи, у решётки колокола. Про маму. Про Ирину Залесскую. Про трёх подруг, «не разлей вода». Про ключ от решётки на поясе у Тимофеича и отпертый замок. Про катер с белым гладким носом в ночь на пятнадцатое мая. Про «Мнемозину».

Глеб слушал, не перебивая. Когда я сказала «Галанина», он вздрогнул.

— Она за меня заступилась, — проговорил он медленно. — Летом. Когда меня хотели отчислить. Долгов уже приказ подписал, а она приехала на совет и сказала: «Сын за отца не

отвечает. Мальчик останется. Я лично прослежу», — Глеб смотрел на озеро. — Я тогда думал: вот, хоть один нормальный взрослый. А отец... отец, когда узнал, долго молчал. Потом сказал: «Держись от неё подальше, Глеб». Я спросил почему. Он не ответил.

— Мне надо поговорить с твоим отцом.

Глеб повернулся ко мне.

— Он ни с кем не разговаривает. С лета. Сидит в Сельге, в бабкином доме, чинит часы для соседей и молчит.

— Со мной поговорит, — ответила я. — Если ты приведёшь.

Глеб долго смотрел на меня. Потом сунул блокнот в карман.

— Паром в Сельгу в субботу, в девять утра, — проговорил он. — По субботам можно, если есть разрешение. Я своё получу — у меня отец там, мне дают. А тебе надо придумать причину.

— Интервью для выпускной работы, — ответила я. — С бывшим преподавателем лица.

Глеб хмыкнул.

— Агния Львовна тебя убьёт.

— Агния Львовна подпишет, — я посмотрела на колокольню, тёмную на фоне вечернего неба. — Ей интересно, что я найду. Я это вижу.

* * *

В тот вечер, в комнате, я достала из чемодана мамин учеб-

ник латыни.

Я взяла его с собой. Не знаю зачем. Просто не смогла оставить в Ковде. Старый, потрёпанный, в серой обложке, с карандашными пометками на полях. Я учила по нему три года. Знала каждую страницу.

Каждую, кроме одной.

Последней. Форзац — плотной бумаги, приклеенной к внутренней стороне задней обложки. Я никогда его не разглядывала: там ничего не было, только пятно от чая и какие-то полустёртые карандашные цифры.

Теперь я поднесла книгу к лампе и посмотрела внимательно.

Цифры были не цифрами. Буквы. Сёртые, почти невидимые, — кто-то писал карандашом, а потом пытался стереть ластиком. Я наклонила книгу под углом к свету.

«О. О. — от И. З. Чтобы помнила. Memento. 1993».

А ниже, совсем мелко, другой рукой — маминой, я узнала её почерк, круглый, с наклоном влево, — и тоже стёртое:

«Я не помню, кто ты. Прости».

Засушенный лист рябины, который всегда лежал между страницами сто двенадцать и сто тринадцать, выскользнул из книги и упал мне на колени.

Я сидела на кровати Алисы Ренн, держа мамин учебник, и плакала. Беззвучно. Так, как плакала девушка у бронзового льва.

Соня проснулась, посмотрела на меня и ничего не спроси-

ла. Просто встала, перебралась на мою кровать, села рядом и обняла меня. Крепко. Пахнущая канифолью и печеньем.

Мы сидели так, пока я не перестала.

* * *

Утром на мнемонике Агния Львовна велела нам строить дворцы.

— Не на бумаге, — уточнила она, когда Полина Дружина послушно открыла тетрадь. — В голове. Закройте глаза. Выберите место, которое знаете лучше всего на свете. Не лицей — здесь вы всего три недели. Дом. Квартиру бабушки. Дачу. Пройдите его от двери до последней комнаты. Медленно. Считайте шаги. Запоминайте, где скрипит половица, где висит календарь, где отбита плитка. Это будет ваш первый чертог. Вы будете возвращаться в него всю жизнь.

Класс затих. Двадцать человек сидели с закрытыми глазами, и в тишине было слышно, как тикают часы над доской и как в коридоре уборщица гремит ведром.

Я закрыла глаза.

Крыльцо с отбитой ступенькой. Я знала его наизусть. Но вчера, в сторожке, что-то сдвинулось. Будто кто-то прошёл по моему дому, пока меня не было, и переставил мебель.

Дверь. Прихожая. Вешалка с отцовской курткой — синей, пахнущей мазутом и рыбой. Он уходил в рейс в апреле и возвращался в октябре, и куртка всё лето висела пустой, а я утыкалась в неё лицом, когда скучала. Кухня. Окно на залив. Подоконник, на котором мама держала герань.

Мама.

Ей было тогда, наверное, тридцать. Мне — пять. Она сидела на табуретке у окна, а я — у неё на коленях, и она водила моим пальцем по стеклу.

«Смотри, Варенька. Вот это — наш дом для слов. Хочешь что-нибудь запомнить — неси сюда. Положи на подоконник. Или в хлебницу. Или под коврик у двери. Потом придёшь — и оно лежит. Ждёт».

«А если я забуду, где положила?»

«Не забудешь. Дом помнит. — Мама засмеялась. Тогда она ещё смеялась. — Только больное в стены не клади. Слышишь? Никогда. Больное надо носить с собой. Стены потом плачут».

Я открыла глаза.

Агния Львовна стояла у моей парты. Я не слышала, как она подошла. Смотрела на меня сверху вниз, держа в руке мел.

— Ольхина, — произнесла она негромко. — Вы где были?

— Дома.

— Кто там был?

Я помедлила.

— Мама. Она учила меня класть слова на подоконник. Когда мне было пять.

Мел в пальцах Агнии Львовны хрустнул. Отломившийся кусочек упал на парту и покатился к краю.

— Как она это называла? — спросила Агния Львовна. Го-

лос у неё не изменился, только стал ещё тише.

— «Дом для слов».

Агния Львовна долго молчала. Потом подняла с парты отломившийся кусочек мела. Покрутила в пальцах.

— Хорошее название, — заключила она наконец. — Лучше, чем «чертог». Честнее.

Она пошла дальше, между партами, к Яну, который сидел с закрытыми глазами и чему-то улыбался. Положила руку ему на плечо, и он вздрогнул и открыл глаза.

А я сидела и думала о том, что ни разу в жизни не слышала от мамы слова «чертог». И что она никогда, ни разу за двенадцать лет не говорила мне, откуда знает эту игру.

«Только больное в стены не клади».

Знала ли она тогда, в тридцать лет, на табуретке у окна, почему так говорит? Или это говорило то, что от неё осталось?

* * *

После урока я задержалась в классе. Ждала, пока все выйдут.

Агния Львовна стирала доску. Медленно, длинными полосами, сверху вниз. На доске оставались тени слов — бледные, едва различимые: «loci», «imagines», «Simonides».

— Вы что-то хотели, Варвара?

— Мама училась у вас, — проговорила я. Не спрашивая.
— Да?

Тряпка в её руке остановилась.

— Почему вы так решили?

— Потому что вы сломали мел.

Агния Львовна медленно повернулась ко мне. Её лицо было спокойным, только у губ появилась складка, которой я раньше не замечала. Глубокая. Старая.

— Здесь училось много девочек, Варвара, — ответила она. — За тридцать шесть лет — несколько сотен. Я не могу помнить всех.

— Вы помните всех. Вы учите мнемонике.

Секунду мне казалось, что она улыбнётся. Не улыбнулась.

— Идите на урок. Вы опоздаете, — Агния Львовна снова повернулась к доске. — Идите, Варвара.

Я пошла. У двери обернулась.

Она стояла у доски с тряпкой в опущенной руке и смотрела на бледную тень слова «Simonides». На поэта, который единственный выжил под рухнувшей крышей и вспомнил, где сидел каждый погибший.

Потому что кто-то должен помнить.

Глава 7. Статуи по ночам.

Агния Львовна подписала разрешение, не задав ни одного вопроса.

Я стояла перед её столом в кабинете мнемоники, держа бланк, и ждала, что она спросит: почему Ведерников, почему сейчас, зачем мне интервью с человеком, которого обвиняют в убийстве. Она не спросила. Взяла бланк, прочитала, обмакнула перо в чернильницу — она до сих пор писала перьевой ручкой — и поставила подпись. Длинную, острую, с завитком в конце.

Потом подняла на меня глаза.

— Передайте Артемию Ильичу, что Пифагорова теорема по-прежнему верна, — произнесла она ровно. — Он поймёт.

— Что это значит?

— Это значит, что я его помню, — Агния Львовна протянула мне бланк. — Он был хорошим учителем, Варвара. Независимо от того, что о нём говорят, — она помолчала. — Будьте осторожны на пароме. Озеро в октябре злое.

Был ещё сентябрь. Но я не стала её поправлять.

* * *

Паром отходил в девять. Нас было пятеро: я, Глеб, две девочки из девятого класса, которых отпустили к зубному, и повариха Галя с пустыми корзинами — за продуктами. Тимофеич стоял у штурвала и ни разу не обернулся.

Глеб сидел на корме, на ящике со спасательными жилетами, и молчал всю дорогу. Я сидела рядом. Озеро было серым, ветер — холодным, и на горизонте висела тяжёлая сизая туча, обещавшая дождь к обеду.

— Он может не открыть, — проговорил Глеб, когда показались крыши Сельги. — Предупреждаю. Он и мне не всегда открывает. Иногда я стою под дверью час, а он сидит внутри и не открывает.

— Почему?

— Потому что стыдно, — Глеб смотрел на приближающийся берег. — Ему стыдно, что меня из-за него травят. Что я из-за него один. Что мать... — он запнулся. — Неважно. Просто будь готова, что придётся ждать.

* * *

Сельга оказалась маленькой и серой. Пристань, речной вокзал с часами, которые я помнила по первому дню. Площадь с памятником, магазин, почта. Деревянные дома с резными наличниками, покосившиеся заборы, мокрые огороды с почерневшей ботвой. Собака, которая проводила нас до угла и отстала.

Бабкин дом Ведерниковых стоял на окраине, у самой воды, за огородами. Одноэтажный, тёмный от дождей, с крыльцом в три ступеньки и с жестяным петушком на коньке крыши. В окне горел свет.

Глеб постучал. Три раза, потом ещё два — условный стук. Тишина. Потом шаги. Потом звякнула цепочка.

Дверь приоткрылась. В щели показалось лицо — небритое, худое, с запавшими глазами за толстыми очками в роговой оправе. Мужчина лет пятидесяти, седой на висках. Он посмотрел на Глеба. Потом на меня.

— Это кто? — голос у него был хриплым, будто он давно не разговаривал.

— Пап, это Варя Ольхина. Она со мной учится. Она хочет с тобой поговорить.

— Я ни с кем не разговариваю.

— Пап.

— Глеб, я сказал...

— Агния Львовна просила передать, что Пифагорова теорема по-прежнему верна, — я шагнула вперёд, к двери.

Мужчина за дверью застыл. Долго смотрел на меня сквозь толстые стёкла очков. Потом снял цепочку.

— Входите, — проговорил он. — Оба.

* * *

В доме пахло машинным маслом, старым деревом и кофе. Вся комната — большая, единственная, с русской печью в углу — была завалена часами. Настенные, настольные, будильники, наручные, карманные. Часы с кукушкой. Часы с маятником в высоком деревянном корпусе. Часы без стрелок, часы без стёкол, часы, разобранные до последнего винтика и разложенные на газетах на столе, как хирургические инструменты. Они тикали — все разом, вразнобой, — и от этого тиканья комната казалась живой.

— Соседи носят, — Артемий Ильич кивнул на часы. — Я чиню. Бесплатно. Надо же чем-то руки занять, — он сел за стол, в старое кресло с продавленным сиденьем, и снял очки. Потёр переносицу. — Садитесь. Глеб, поставь чайник.

Глеб пошёл к печке. Я села на табурет напротив.

— Пифагорова теорема, — Артемий Ильич надел очки обратно. — Это наша с Агнией шутка. Двадцать лет назад, когда я только пришёл в лицей, я был молодым, глупым и всё время с ней спорил. О методе, о программе, о том, можно ли учить детей вещам, которые... — он запнулся. — Неважно. Однажды я сказал ей в запале: «Вы, Агния Львовна, готовы любую истину объявить ложной, если она вам неудобна». А она ответила: «Пифагорова теорема мне неудобна, Артемий Ильич. А я её всё равно признаю», — он помолчал. — С тех пор, когда кто-то из нас хотел сказать другому «я на твоей стороне, даже если мне это неудобно», мы говорили про Пифагора.

Он посмотрел на меня.

— Значит, Агния на моей стороне, — Голос у него дрогнул. — Ну надо же. Полгода молчала. А тут вдруг передаёт через девочку, которую я первый раз вижу, — он покачал головой. — Ты кто, Варя Ольхина? Зачем ты пришла?

* * *

Я рассказала ему то же, что Глебу. Про маму. Про альбом девяносто четвёртого года. Про Ирину Залесскую и Ночь памяти. Про вырезку, которую Алиса хранила у себя в комнате.

Артемий Ильич слушал, сцепив пальцы на столе. Часы вокруг тикали. Глеб принёс чай в гранёных стаканах, в подстаканниках, поставил перед нами и сел на подоконник.

Когда я замолчала, Артемий Ильич долго смотрел на свои руки.

— Алиса писала у меня выпускную, — проговорил он наконец. — По истории лица. Как ты. Тема была безобидная: «Традиции „Мнемона“: от основания до наших дней». Ночь памяти, Вековой бал, посвящение в лицеисты. Красивые обряды, звучные латинские формулы. Я сам предложил ей эту тему, — он горько усмехнулся. — Думал, хорошая девочка, умная, напишет красиво, получит рекомендацию.

— А она?

— А она в марте пришла ко мне с вырезкой про Залесскую. И спросила: «Артемий Ильич, почему в девяносто четвёртом году в Ночь памяти погибла ученица, и об этом нет ни слова ни в одной летописи лица?» Я сказал: «Несчастный случай». Она сказала: «Нет», — он поднял на меня глаза. — Она нашла дневник.

— Чей дневник?

— Залесской, — Артемий Ильич снял очки и снова потёр переносицу. — В библиотеке, в закрытом фонде. Там хранятся книги, которые выпускники дарят лицу, когда уходят, — по традиции, каждый оставляет одну. Ирина Залеская оставила в девяносто четвёртом... нет, не оставила — она погибла до выпуска. Её книгу сдала за неё подруга. Ка-

кой-то томик Овидия. «Метаморфозы». А в переплёте, под форзацем, были страницы. Вырванные из тетради, сложенные, спрятанные.

— Что было в дневнике?

— Я не читал, — он покачал головой. — Она не дала. Сказала: «Вам это опасно знать, Артемий Ильич. Вы трус. Если узнаете — побежите к Долгову», — он горько улыбнулся. — Она была права. Я трус.

— Пап, — Глеб на подоконнике пошевелился.

— Не надо, Глеб. Я трус. Я знал, что она делает что-то опасное. Я видел, как она меняется. Перестала спать. Похудела. Ходила, как натянутая струна. А в апреле она пришла и сказала, что знает, кто убил Залесскую. И что собирается этим воспользоваться.

— Воспользоваться?

— Шантажом, — Артемий Ильич произнёс это слово так, будто оно было горьким на вкус. — Она хотела в Кембридж. Ей нужна была рекомендация от попечительского совета, а он давал её только одному выпускнику в год. Галанин... — он запнулся. — Сын председателя тоже хотел. И она сказала мне: «Артемий Ильич, этот человек даст мне рекомендацию. Или я расскажу всем, что знаю». Я кричал на неё. Говорил, что это преступление, что это опасно, что она играет с огнём. Она назвала меня трусом и ушла. Это была наша последняя ссора. Её слышал весь второй этаж.

— Кто «этот человек»? — я подалась вперёд. — Она на-

звала имя?

— Нет, — он покачал головой. — Ни разу. Только «этот человек». Только «они».

Часы на стене — большие, с маятником — вдруг пробили одиннадцать. Гулко, протяжно. Я вздрогнула.

* * *

— Что было в Ночь памяти? — спросила я, когда последний удар стих.

Артемий Ильич долго молчал. Потом встал, подошёл к старому буфету в углу, выдвинул нижний ящик. Порылся там. Вытащил что-то маленькое, плоское — конверт. Вернулся к столу и положил передо мной.

— Её записка, — проговорил он. — Подсунула мне под дверь вечером, часов в десять. Я никому её не показывал. Ни полиции, ни адвокату. Глеб — и тот не видел.

Глеб соскочил с подоконника. Встал у меня за плечом.

Я открыла конверт. Внутри был листок, вырванный из блокнота в клетку. Почерк — быстрый, острый, с сильным нажимом:

«А. И.! В 1:30 на третьем ярусе. Принесу то, что вы должны увидеть. Тогда поймёте, что я не сумасшедшая. Если меня там не будет — ищите у Мнемосины. Она помнит. А.»

«Ищите у Мнемосины. Она помнит».

У меня похолодели руки.

— Я пришёл в два ноль пять, — голос Артемия Ильича стал совсем тихим. — Опоздал на тридцать пять минут. Я

сидел в своём флигеле, держал эту записку и не мог решить-ся. Боялся. Думал: если пойду, то стану соучастником. Если не пойду — она сделает какую-нибудь глупость. Я сидел и думал. Тридцать пять минут. — Он закрыл глаза. — Потом пошёл. В библиотеке было темно. Я поднялся до второго яруса, позвал её. Никто не ответил. Я перегнулся через перила...

Он замолчал.

Часы тикали. Все разом, вразнобой. Глеб стоял у меня за плечом, и я слышала, как он дышит — часто, неровно.

— Почему вы не показали записку полиции? — спросила я тихо.

— Потому что она назначала мне встречу, — Артемий Ильич открыл глаза. — Мне. Ночью. В том месте, где её нашли мёртвой. С этой запиской меня бы посадили на следующий день. А без неё — отпустили за недостатком улик. — Он помолчал. — Я трус, Варя. Я тебе говорил.

— А «ищите у Мнемосины»? Вы искали?

— Искал, — он кивнул. — Через неделю, когда меня выпустили. Пришёл ночью на остров — Тимофеич перевёз, он единственный мне тогда руку подал. Поднялся на третий ярус. Обыскал статую, постамент, нишу, стеллажи вокруг. Ничего. Ни тетради, ни дневника, ни телефона. Только царапина на постаменте, — он покачал головой. — Если она что-то там спрятала, кто-то нашёл раньше меня.

Я смотрела на записку. «Она помнит».

Он искал тетрадь. Дневник. Предмет. Что-то, что можно взять в руки.

Он не знал, что искать надо не так.

* * *

— Можно я возьму её? — спросила я. — Записку.

Артемий Ильич долго смотрел на меня. Потом на Глеба. Потом снова на меня.

— Зачем?

— Затем, что вы её полгода прятали в буфете, — ответила я. — А я, может быть, знаю, что значит «она помнит».

Пауза. Часы тикали.

— Бери, — проговорил он наконец. — Только... будь осторожна, Варя Ольхина. Алиса тоже думала, что знает.

Он проводил нас до калитки. Глеб ушёл вперёд, к дороге, — ему, кажется, нужно было побыть одному. Артемий Ильич задержал меня у забора, положив руку на мокрую от дождя штaketину.

— Ольхина, — он смотрел не на меня, а на озеро за огородами. — Ты сказала, твоя мать училась в девяносто четвёртом. При Агнии.

— Да.

— Я пришёл в лицей в две тысячи пятом. Девяносто четвёртого не застал, — он помолчал. — Но однажды, лет десять назад, на новогоднем вечере в учительской, Агния выпила лишнего. Она никогда не пила, а тут — бокал шампанского, второй. И сказала мне, когда все ушли танцевать. Я

запомнил дословно, потому что это было непохоже на неё, — он повернулся ко мне. — «Артемий, в девяносто четвёртом году я сделала одну вещь, которую нельзя исправить. Я помогла забыть. Одну девочку заставила, а другую не уберегла. И я помню обеих каждый день. Потому что себе я забыть не разрешила». Утром она сделала вид, что ничего не было.

У меня перехватило дыхание.

— Одну девочку заставила, — повторила я.

— Я не знаю, что это значит, — Артемий Ильич убрал руку с забора. — Но если ты пришла ко мне с её паролем — значит, она хочет, чтобы ты узнала. Сама она не скажет. Она никогда ничего не говорит прямо, — он помолчал. — Иди. Глеб ждёт. И, Варя... присмотри за ним. Пожалуйста. Он у меня один.

* * *

На пристани мы ждали паром сорок минут. Тимофеич задерживался — повариха Галя ещё не вернулась с рынка.

У дальнего причала, там, где швартовались частные лодки, стоял катер. Белый, длинный, с гладким, стремительным носом и с тонированными стёклами рубки. На борту, синими буквами с золотой обводкой, было выведено: «МНЕМОЗИНА».

Я остановилась.

Глеб проследил мой взгляд. Ничего не сказал. Только сжал губы.

Мы подошли ближе — просто подошли, как подходят ту-

ристы посмотреть на красивую лодку. На корме катера стоял мужчина. Высокий, в тёмной куртке, с короткой стрижкой и спокойным, ничего не выражающим лицом. Через левую бровь у него шёл тонкий белый шрам. Он курил и смотрел на нас.

— Ребята, — окликнул он, когда мы остановились в трёх шагах от борта. Голос у него был мягкий, вежливый. — Это частный причал. Вы что-то ищете?

— Красивый катер, — ответила я.

— Красивый, — согласился он. Потом посмотрел на Глеба. Долго, внимательно. — Ведерников, — проговорил он. Не вопрос. — Сын. Похож, — перевёл взгляд на меня. — А вы, девушка?

— Я с ним.

— Вижу, — мужчина выбросил окурок в воду. — Ступайте, ребята. Ваш паром уже идёт. Не стоит опаздывать.

Мы ушли. Я чувствовала его взгляд спиной до самого речного вокзала.

— Это Кривцов, — проговорил Глеб, когда мы отошли. — Станислав. Помощник Галаниной. Водитель, охранник, всё сразу. Он весной, когда отца забирали, стоял у машины следователя. Я тогда думал: что он там делает? Это же не его дело.

— А теперь?

— А теперь я думаю, что «Мнемозина» стоит в Сельге, а Галанина в Москве, — Глеб смотрел на воду. — Зачем Крив-

цову сидеть на её катере в субботу, если хозяйки нет?

На обратном пути, на пароме, Глеб долго молчал. Сидел на корме, на ящике с жилетами, и смотрел на кильватерный след. Туча, висевшая с утра над горизонтом, наконец добралась до нас, и пошёл дождь — мелкий, холодный, косой. Я накинула капюшон. Глеб не накинул.

— Он мне не показывал, — проговорил он наконец. — Записку. Полгода. Я приезжал каждую субботу. Сидел у него. Спрашивал. А он мне — «не знаю, не помню, Глеб, оставь», — Глеб смотрел на воду. — А тебе — показал. Через час знакомства.

— Он тебя защищал.

— Он меня не защищал. Он прятался, — Глеб наконец повернулся ко мне. Вода стекала по его лицу, и я не могла понять, только ли дождевая. — Тридцать пять минут, Варя. Он сидел и думал тридцать пять минут. Если бы он пошёл сразу...

— Может, он бы тоже упал.

Глеб замолчал.

— А может, она была бы жива, — проговорил он тихо. — Мы этого никогда не узнаем.

Мы помолчали. Паром переваливался на волнах. Впереди, из дождя, медленно вырастал Стылый — чёрный, мокрый, с тёмной колокольной на макушке.

— Что значит «она помнит»? — Глеб не смотрел на меня. — Ты сказала отцу, что знаешь. Это правда?

Я смотрела на остров. На колокольню. На библиотечный купол, едва различимый за соснами.

Сказать? Сейчас? Здесь, на пароме, под дождём, мальчишке, которого я знаю три недели?

— Я не знаю, — ответила я. — Пока не знаю. Но я узнаю.

Глеб повернулся. Посмотрел на меня долго, пристально, без злости.

— Ты опять врёшь, — проговорил он. — Ты у меня всё время врёшь. Я уже привык.

Он отвернулся к воде.

А я сидела рядом, под дождём, и держала в кармане записку мёртвой девушки, и думала о мраморной женщине с опущенными глазами. О голосе Алисы под куполом библиотеки. «Ты знаешь, что сделала твоя мать».

Она помнит.

Мнемосина помнила. И кроме меня, кажется, об этом не знал никто.

Кроме Киры Рябининой. Которая плакала у статуи по ночам.

Глава восьмая. «Забудь»

Первый иней лёг на остров в ночь на третье октября.

Я проснулась от холода. Окно в нише, которое никогда не закрывалось до конца, несмотря на Сонину «штуку» из проволоки и пластика, затянуло белым узором — перья, папоротники, звёзды, — и сквозь него сочился серый предрассветный свет. Соня спала, закутавшись в два одеяла с головой. В комнате пахло морозом и немного — горелой изоляцией, потому что Соня с вечера пыталась починить обогреватель.

Я встала, накинула на плечи одеяло и подошла к окну. Хотела посмотреть на озеро.

И остановилась.

Посреди морозного узора, на уровне глаз, кто-то вывел пальцем слово. С той стороны стекла. Снаружи. Буквы проступали чистыми, прозрачными линиями сквозь белую изморозь, и за ними было видно небо.

«OBLIVISCERE».

Забудь.

Повелительное наклонение. Второе лицо, единственное число. Обращение к одному человеку.

Ко мне.

Я стояла и смотрела на буквы, и холод от стекла полз мне в ладони, в локти, в плечи. Третий этаж. За окном — узкий

карниз шириной в ладонь, а под ним — двенадцать метров до мощёной дорожки. Никто не мог стоять на этом карнизе. Никто не мог дотянуться до стекла снаружи.

Но кто-то дотянулся.

* * *

— Это шутка, — Соня сидела на кровати, обхватив колени, и смотрела на окно. Иней уже начал таять, и буквы расплывались, текли каплями вниз. — Кто-то из младших. С крыши, на верёвке. Они так в прошлом году Кире на окне нарисовали... ну, неприличное. Долгов неделю искал.

— На третьем этаже? С крыши?

— Ну... — Соня замолчала. — Ладно. Не шутка, — она посмотрела на меня. — Варя, во что ты влезла?

Я не ответила. Я смотрела на свой стол.

Ящик был выдвинут. Совсем чуть-чуть, на палец. Я точно помнила, что вечером задвинула его до конца. Я всегда задвигаю. Привычка.

Я подошла и выдвинула его полностью.

Пусто.

Там лежал мой журнал — толстая тетрадь в клеёнчатой обложке, где были все записи, все расшифровки интервью, все планы. Там лежали три кассеты для диктофона, подписанные: «Пак», «Рябинина», «Галанин». Там лежала копия схемы из протокола, которую перерисовал для меня Глеб.

Ничего этого не было.

Только на дне ящика, в самом углу, лежал маленький

предмет. Я взяла его. Засушенный лист рябины. Мой — тот, что выпал из маминого учебника.

Кто-то взял всё. А лист оставил. Аккуратно положил в угол.

— Варя? — Соня встала с кровати. — Что там?

Я молча показала ей пустой ящик.

Соня долго смотрела на него. Потом медленно подошла к двери и проверила замок. Обычный английский замок, с защёлкой. Мы закрывали его на ночь. Я помнила, как Соня закрывала.

Он был закрыт.

— Ключи от комнат есть у дежурных учителей, — проговорила Соня тихо. — И у старост. И у Долгова. И у Тимофеевича, наверное, — она обернулась ко мне. Лицо у неё было белым. — Варя. Кто-то заходил к нам ночью. Пока мы спали.

* * *

Мамин учебник был на месте. Он лежал у меня под подушкой — я спала с ним с той ночи, когда нашла надпись на форзаце. Записка Алисы тоже была на месте: я носила её в нагрудном кармане форменной блузки, сложенную вчетверо, в целлофановом пакете.

Больше у меня ничего не было.

Я сидела на уроке мнемоники и не слышала ни слова. Агния Львовна что-то объясняла у доски — о Цицероне, о «Риторике к Гереннию», об образах-агентах, которые должны быть «необычайно уродливыми или необычайно прекрасны-

ми». Класс записывал. Я смотрела в окно на сад, побелевший от инея, и думала о буквах на стекле.

«Забудь».

Кто-то знал. Кто-то знал, что я ищу, и хотел, чтобы я оставилась. Не просто хотел — пришёл ночью в мою комнату, пока я спала, и забрал всё. И оставил лист рябины. Будто говорил: «Я знаю, кто ты. Я знаю, откуда ты. Я знаю про твою мать».

— Ольхина.

Я вздрогнула.

Агния Львовна стояла у доски и смотрела на меня. Весь класс смотрел на меня.

— Повторите, пожалуйста, что я сейчас сказала о памяти Симонида.

Я не знала. Я не слышала ни слова.

— Простите, — ответила я. — Я не слушала.

По классу прошёл шорох. Кира Рябинина, сидевшая через два стола от меня, чуть повернула голову. Ян — нет. Он смотрел в свою тетрадь и тёр левый висок.

Агния Львовна долго смотрела на меня поверх голов. Потом повернулась к доске.

— Останьтесь после урока, Варвара, — бросила она через плечо. — Галанин, продолжите вы.

* * *

Когда класс опустел, Агния Львовна закрыла дверь кабинета на ключ. Потом подошла к окну, встала ко мне спиной

и долго смотрела на сад.

— Вы плохо спите, — произнесла она наконец. Не вопрос.

— Нормально сплю.

— Вы не спите совсем. У вас под глазами круги, как у панды. Вы бледная. Вы не слышите, что вам говорят, — Агния Львовна обернулась. — И у вас на прошлой неделе шла носом кровь. Ночью. В библиотеке. На третьем ярусе.

Я застыла.

— Не надо так на меня смотреть, — Агния Львовна подошла к своему столу и села. — Кира Рябинина не умеет мне врать. Она пыталась. Двадцать минут пыталась. Потом сдалась. Не сердитесь на неё. Она хотела вас защитить.

— От кого?

— От меня, разумеется, — Агния Львовна чуть улыбнулась. — Сядьте, Варвара. Нам надо поговорить. И, пожалуйста, не врите мне так, как вы врёте всем остальным. У меня от этого болит голова.

Я села. Ноги не держали.

Агния Львовна сложила руки на столе. Тонкие, бледные, с длинными пальцами. На безымянном пальце левой руки — серебряное кольцо, тонкое, потемневшее от времени.

— Что вы видели у Мнемосины? — спросила она тихо.

Я молчала.

— Хорошо, — Агния Львовна кивнула. — Тогда я скажу, что знаю я. А вы мне скажете, ошибаюсь ли я. Договорились?

Я не ответила. Она приняла это за согласие.

— Вы касаетесь старых вещей, — начала она, медленно, будто читала по памяти. — Иногда. Не всех. И видите. Не картинки — вы проживаете. Чужие руки, чужие глаза, чужое сердцебиение. Секунду. Иногда больше. Потом — головная боль, холод в пальцах, иногда кровь носом. Это началось лет в одиннадцать-двенадцать. Вы никому не говорили. Потому что ваша мать говорила — и это плохо кончилось.

Я сидела неподвижно. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно через стол.

— Я права? — Агния Львовна смотрела на меня прозрачными глазами.

— Откуда вы знаете про маму?

— Я её учила, — ответила Агния Львовна просто. — Три года. Мнемонике. Ольга Ольхина была лучшей ученицей, какую я видела за тридцать шесть лет. Лучше Алисы Ренн. Лучше всех. — Она помолчала. — И она касалась вещей так же, как вы. Только она мне в этом призналась. В шестнадцать лет. Пришла в этот кабинет, села на этот стул и заплакала.

Я не могла дышать.

— Почему вы мне это говорите? Сейчас?

— Потому что кто-то вчера ночью забрал ваш журнал, — Агния Львовна откинулась на спинку кресла. — Не удивляйтесь, Софья Пак побежала к дежурному учителю ещё до завтрака. А сегодня утром на вашем окне было написано «забудь», — она помолчала. — Я видела из сада. Я рано встаю.

— Это вы?

Агния Львовна долго смотрела на меня. Потом рассмеялась — тихо, коротко, без радости.

— Нет, Варвара. Я старая женщина с больными коленями. Я не лазаю по карнизам на третьем этаже, — Она перестала смеяться. — И я никогда никого не прошу забыть. Это не мой стиль.

«Я помогла забыть. Одну девочку заставила».

Я смотрела на неё и не знала, верить ли.

* * *

— Чего вы хотите? — спросила я наконец.

— Чтобы вы спали по ночам, — ответила Агния Львовна.
— Чтобы вы перестали ходить в библиотеку одна. Чтобы вы не касались того, чего не понимаете, — Она встала, подошла к книжному шкафу у стены, открыла застеклённую дверцу и достала тонкую книгу в тёмно-коричневом переплёте. — И чтобы вы прочитали это.

Она положила книгу передо мной.

«А. П. Вельский. О забвении. Опыт экспериментальной мнемотехники. Ленинград, 1931».

— Основатель, — Агния Львовна снова села. — Это его единственная опубликованная работа. Тираж — триста экземпляров. Почти все уничтожены в тридцать восьмом году, когда его арестовали. Это один из трёх уцелевших. — Она помолчала. — Прочитайте главу седьмую. «О помещении впечатлений в предметы». И приложение «Б». Протоколы опытов с испытуемой «Ч.».

— Кто такая «Ч.»?

— Прочитайте, — повторила Агния Львовна. — Потом поговорим. А сейчас идите на латынь. Вы опаздываете.

Я взяла книгу. Она была тяжелее, чем выглядела.

У двери я обернулась.

— Агния Львовна. Вы сказали, мама пришла к вам и заплакала. Что вы сделали?

Агния Львовна сидела за столом, сложив руки. Смотрела на меня. Прозрачные глаза, бледное лицо, седые волосы в низком узле.

— Я ей поверила, — ответила она. — Это была моя первая ошибка, — Пауза. — Вторую я совершила через год. Идите, Варвара.

* * *

Глава седьмая книги Вельского называлась «О помещении впечатлений в предметы. Гипотеза и опыт».

Я читала её на подоконнике в конце коридора западного крыла, на большой перемене, вместо обеда. Старая орфография, мелкий шрифт, плохая бумага, на которой расплывались буквы. Сухой, академический язык. Ссылки на Лурию, на Бехтерева, на какого-то немца с длинной фамилией.

И среди всего этого — фразы, от которых у меня холодели пальцы.

«Наш испытуемый С., обладающий абсолютной памятью, страдал не от неспособности запомнить, но от неспособности забыть. Он пытался записывать ненужное на бумагу

и сжигать, однако образы возвращались. Тогда нами было предложено испытуемому мысленно поместить ненужный образ в определённый предмет обстановки — например, в чернильницу — и мысленно же оставить его там, покидая комнату. Результат превзошёл ожидания».

«...при повторных опытах в специально подготовленном помещении (усадьба на острове Стылый) было установлено, что впечатление, помещённое по описанной методике, не только исчезает из памяти испытуемого, но и, по-видимому, сохраняется в предмете...»

«...данное утверждение основано на показаниях испытуемой Ч., обладающей особой чувствительностью к предметам, которой ранее помещённые впечатления были воспроизведены с поразительной точностью при простом касании...»

Испытуемая «Ч.».

Чувствительная. Чуткая.

Я закрыла книгу. Руки дрожали.

Приложение «Б» было коротким — три страницы протоколов. Даты, время, предмет, «помещённое впечатление», «воспроизведение испытуемой Ч.». Чернильница — сон испытуемого С. о матери. Каминные часы — запах сирени. Бронзовый лев на входной двери — «нежелательное воспоминание об обиде».

Бронзовый лев.

Протоколы обрывались в апреле тридцать восьмого. По-

следняя запись была сделана другим почерком, торопливым, неровным: «Испытуемая Ч. отказалась от дальнейшего участия в опытах, заявив, что „не может больше носить чужое“. Местонахождение испытуемой неизвестно».

* * *

Записку я нашла вечером, когда вернулась в комнату. Она лежала у меня на подушке. Маленький клочок бумаги, вырванный из тетради, с одним словом, написанным неровным, торопливым почерком:

«Оранжерея. 22:00. Одна. К.»

Соня сидела за своим столом, спиной ко мне, и паяла что-то. Не обернулась.

— Соня, кто приходил?

— Никто, — она не отрывалась от паяльника. — Я тут с шести. Никто не приходил.

— А записка?

— Какая записка? — Соня наконец обернулась. Посмотрела на клочок у меня в руке. Нахмурилась. — Я не видела. Честно, Варя. Она уже была, когда я пришла? Я не заметила.

Я посмотрела на окно. Оно было закрыто. На двери — замок. Ключи у дежурных, у старост, у Долгова, у Тимофеича.

И, видимо, ещё у кого-то.

* * *

В оранжерее было темно и душно. Пахло землёй, сыростью и цветами, названий которых я не знала. Стекло крыша над головой запотела изнутри, и сквозь неё тускло

светили звёзды. Где-то капала вода. Между кадками с пальмами и лимонами тянулись узкие проходы, и в каждом могла прятаться тень.

Кира стояла у самой дальней стены, между кактусами, которые пересаживала тогда, в сентябре. Без фонаря, без свечи. Я увидела её, только когда подошла вплотную.

— Ты пришла, — она не удивилась. — Хорошо. Говори тихо.

— Это ты написала на окне?

— Что? — Кира нахмурилась. — На каком окне?

— «Забудь». Сегодня ночью. На моём окне. И кто-то украл мой журнал.

Кира долго молчала. Потом медленно покачала головой.

— Это не я, — проговорила она. — Я бы написала по-русски. Я не люблю латынь.

Она отвернулась к кактусам.

— Я пришла сказать одну вещь. Одну. Потом уйду, и мы никогда об этом не говорили, поняла? — Кира не оборачивалась. — Агния знает, что ты можешь. Я ей сказала. Она меня заставила, ты не представляешь, как она умеет заставлять. Значит, теперь знает и Ян. А если знает Ян...

Она замолчала.

— То что?

— То скоро тебя позовут, — Кира наконец обернулась. В темноте её лицо казалось белым пятном. — В Палату. Ты им нужна. Им давно нужен кто-то, кто может... брать. Как ты у

Мнемосины. У них никого не было с девяносто четвёртого.

С девяносто четвёртого.

— Кира, что было в девяносто четвёртом?

— Не знаю, — она покачала головой. — Правда не знаю. Алиса знала. Она нашла, — Кира сделала шаг ко мне. — Когда тебя позовут — соглашайся. Только так ты подберёшься к тому, что внутри. Но не верь им. Никому из них. Ни Яну, ни Агнии, ни остальным. И не трогай колокол.

— Почему все говорят мне про колокол?

Кира долго смотрела на меня в темноте.

— Потому что Алиса хотела его тронуть, — ответила она. — За неделю до Ночи памяти. Она сказала мне: «Кира, в колоколе — ответ. Но я не могу его взять. Мне нужен кто-то, кто может». Я сказала: «Ты с ума сошла, тебя сожрут». — Кира помолчала. — Её и сожрали.

Она прошла мимо меня к выходу. У двери обернулась.

— Твой журнал, — проговорила она. — Если его забрали, значит, ты уже нашла что-то, чего они боятся. Подумай, что. Дверь оранжереи закрылась за ней без звука.

Я стояла среди кактусов, в темноте, в душной сырости, и думала.

Альбом девяносто четвёртого. Вырезка. Мама. Ирина Залесская. Ленка Вострикова. Катер «Мнемозина». Записка Алисы: «Ищите у Мнемосины. Она помнит».

Всё, что было в журнале, кроме записки. Записка была у меня в кармане.

Значит, они не знали про записку. Пока.

* * *

Ночью я восстанавливала журнал.

Не на бумаге сначала — в голове. Я села на кровать, укрылась одеялом с головой, как в детстве, когда читала с фонариком, и пошла домой. В Ковду. По крыльцу с отбитой ступенькой, в прихожую, на кухню.

На подоконнике лежала первая запись. Третье сентября. Я положила её туда сама, тогда, когда писала, не думая, просто по привычке: каждую страницу журнала я, закончив, мысленно оставляла где-нибудь в доме. Мама научила. «Дом для слов».

Я взяла её с подоконника и прочла.

«Тема: „Сто лет лица“. Руководитель — А. Л. Штерн. Архив в подвале. Ключ у Зинаиды Марковны».

Дальше. В хлебнице — интервью с Соней. Под ковриком — схема Глеба, которую я перерисовала в журнал на причале: свеча у статуи, царапина на постаменте, книга не найдена. На полке над плитой — Кира. В ящике с ложками — Ян, его ровный голос и пальцы, которые трут висок.

Я выбралась из-под одеяла и начала писать.

Соня сидела на своей кровати по-турецки и смотрела, как я пишу. Час. Второй. Лист за листом. Иногда я закрывала глаза, замирала, потом снова писала.

— Ты что, всё это помнишь? — спросила она наконец. Шёпотом, хотя никто, кроме нас, не мог услышать. — До-

словно?

— Почти.

— Это ненормально.

— Это мнемоника. Агния Львовна целый месяц учит. Ты тоже так можешь.

— Не могу, — Соня покачала головой. — Я пробовала. У меня в доме для слов вечно кто-то ходит и всё перекладывает. Брат. Он в моём дворце живёт, представляешь? Ему девять, и он даже там мне мешает.

Я засмеялась. Впервые за весь этот бесконечный день.

К трём часам ночи у меня было тридцать два листа, исписанных с двух сторон. Не всё — кассет я восстановить не могла, голоса остались только в памяти. Но всё главное. Даты. Имена. Цифры. «В час сорок — катер без огней». «Записка: ищите у Мнемосины». «Ленка Вострикова».

Я сложила листы стопкой и сунула под подушку.

— Мало, — Соня покачала головой.

— Что мало?

— Подушка. Её уже один раз нашли, — Она слезла с кровати, пошлёпала босиком к столу, выдвинула ящик со своими деталями и начала в нём рыться. Что-то звякало, шуршало, щёлкало. — Тот, кто забрал журнал, вошёл сюда, пока нас не было. Значит, у него ключ. Значит, войдёт снова. Мы не можем запереться изнутри — замок не держит, ты сама видела. Но мы можем знать.

— Знать что?

— Когда он придёт. — Соня вытащила из ящика маленький серебристый цилиндрик и катушку тонкого провода. — Геркон. Магнитный датчик. Его ставят на двери и окна в магазинах. Дверь открылась — контакт разомкнулся — сигнал. Я его из сломанного холодильника достала, ещё в восьмом классе. Думала, на что-нибудь пригодится.

— И что, будет звенеть?

— Звенеть — глупо. Он услышит и уйдёт, — Соня уже сидела на полу, раскладывая детали на газете. — Он будет писать. Время. Каждый раз, когда дверь откроется. На картушку памяти. Днём мы проверяем: если дверь открывалась, когда нас не было, — значит, был он.

Она подняла на меня глаза. Круглые, серьёзные, без тени улыбки.

— Варя. Я не знаю, во что ты влезла. Ты не говоришь — ладно. Но я тут живу. Это и моя комната тоже. И я не хочу, чтобы кто-то ходил по ней ночью, пока я сплю.

Я смотрела на неё. На паяльник, который она уже включила в розетку. На катушку провода. На старый калькулятор, из которого она выковыривала экранчик.

— Спасибо, — проговорила я.

— Не благодари. Это интересная задача, — Соня шмыгнула носом. — Мне нужен будет час. И твоя пилка для ногтей.

К рассвету над нашей дверью, в углу, под самым косяком, висела коробочка размером со спичечный коробок, обмо-

танная синей изолентой. С крошечным красным огоньком.

Соня лежала на полу, на газете, среди обрезков провода, и спала, положив под голову мой свитер.

Я накрыла её одеялом и села у окна.

Над озером светало. Колокол наверху был виден чёрным пятном в бледном небе. Иней на стекле уже растаял, и буквы, которые кто-то вывел снаружи ночью, — «OBLIVISCERE», — превратились в мутные потёки.

Забудь.

Я взяла верхний лист. И написала на нём, крупно, поперёк:

«MEMINI».

Помню.

Глава девятая. Приглашение

Ян нашёл меня на смотровой площадке колокольни в субботу, в шесть вечера, когда я в третий раз безуспешно пыталась дозвониться до отца.

Стояла середина октября. Ветер на площадке стал злым, колючим, с запахом снега, хотя его ещё не было. Озеро внизу потемнело до свинцового цвета. Деревья на острове облетели, и сквозь голые ветви было видно то, что летом прятала листва: тропинки, крыши хозяйственных построек, кладбище в дальнем углу острова — маленькое, огороженное железной решёткой, с покосившимися крестами и простыми гранитными плитами.

— Не дозвонилась? — Ян встал рядом, у парапета, засунув руки в карманы пальто. Он, как всегда, был без шапки, и ветер трепал его светлые волосы и седую прядь над виском.

— Отец в рейсе. Там связи нет.

— Понятно, — Он помолчал. — Пройдёмся? Мне нужно с тобой поговорить. Не здесь.

Я посмотрела на него. Он улыбался, но глаза у него были серьёзными.

— О чём?

— О твоей выпускной работе, — ответил он. — И о том, что у тебя украли журнал.

* * *

Мы спустились по винтовой лестнице колокольни, прошли через двор и свернули на тропинку, ведущую вдоль обрыва к дальнему мысу острова. Здесь никто не гулял: дорожка была узкой, скользкой от опавших листьев, а справа, за низким каменным парапетом, обрыв уходил прямо в воду.

Ян шёл впереди, не оборачиваясь. Я — следом.

На мысу стояла беседка. Старая, деревянная, с облупившейся белой краской и круглой скамейкой внутри. Отсюда было видно всё озеро — до самого горизонта, где темнела далёкая полоска берега.

Ян сел на скамейку. Я осталась стоять у входа.

— Садись, — он похлопал по скамейке рядом. — Я не кусаюсь. Это Кира кусается.

Я села. Не рядом — напротив, через всю беседку.

Ян посмотрел на меня, чуть усмехнулся и кивнул, будто одобрил.

— Журнал взяли не мы, — начал он. — Хочу, чтобы ты знала. Я узнал от Агнии Львовны. И очень разозлился. Это... это не наш способ.

— «Мы» — это кто?

Ян долго молчал. Смотрел на озеро.

— Ты видела нас, — проговорил он наконец. — Три недели назад. В восточном крыле. Через замочную скважину, — Он повернулся ко мне. — Не отпирайся. Полина почувствовала. Она сказала, что после вынесения ей показалось, будто за дверью кто-то смотрит. Холодно, говорит, стало в спи-

не. Мы проверили коридор утром. На пыли у двери — следы. Маленькие. В носках, — Он улыбнулся. — Такие узкие ступни в Палате ни у кого нет, Варя. Только у тебя.

Я молчала.

— И ещё ты была у Мнемосины, — продолжал Ян негромко. — В ту же ночь. Кира тебя нашла. У тебя шла кровь носом, — Он помолчал. — Кира молчала, как партизан. Но Агния Львовна умеет спрашивать.

— Чего ты хочешь?

— Пригласить тебя, — Ян смотрел мне прямо в глаза. — В Палату.

* * *

Он рассказывал минут двадцать. Я не перебивала.

Палата существовала с тридцатых годов. Её основал сам Вельский, перед арестом, — из семи лучших учеников, которым он доверил свой метод целиком. Не тот, что преподают на уроках, а настоящий. Метод, который позволял не только помнить, но и забывать. Класть ненужное в предметы и уходить без него.

— Ты видела, как это работает, — Ян говорил спокойно, будто объяснял тему на уроке. — Полина положила в птичку свой страх. Она боялась высоты — с детства, до обмороков. Её брат разбился в горах. Теперь она не помнит ни страха, ни того, как узнала о смерти брата. Она помнит, что брат умер, — это факт, это осталось. Но то, как она стояла у телефона, как мама кричала в трубку, — этого нет. Ушло в фарфор.

— И это хорошо?

— Это свобода, — Ян пожал плечами. — Ты не представляешь, сколько людей в мире всю жизнь таскают на себе одно-единственное воспоминание. Как камень на шее. Не могут спать, не могут любить, не могут жить. А здесь его можно снять. Положить. И уйти.

— А цена?

Ян замолчал. Потом медленно поднял руку и потрогал свой левый висок. Там, где седая прядь.

— Цена есть, — признал он. — Голова болит. Иногда кровь носом. Если класть слишком часто — становишься... плоским. Будто краски выцветают, — Он опустил руку. — Мы стараемся не злоупотреблять. Агния Львовна строго следит. Одно вынесение в месяц, не больше. И ничего, что касается других людей. Только своё.

— Ты сам много клал?

— Достаточно, — Ян отвернулся к озеру. — После Алисы — много. Я не мог спать. Каждую ночь видел её внизу, на плитах, — Он помолчал. — Теперь не вижу. И я не помню, как это было. Помню, что было. Знаю, как факт. А картинки — нет. Пусто. Как окно открыли.

Как окно открыли. Те же слова, что у Полины.

* * *

— Зачем я вам? — спросила я.

Ян снова повернулся ко мне.

— Потому что ты можешь брать, — ответил он просто. —

Мы умеем класть. Все, кого учит Агния Львовна, рано или поздно учатся класть. Но брать — читать то, что положено, — может не каждый. Один на тысячу. Может, меньше. Агния Львовна называет таких «чуткими», — Он помолчал. — В Палате не было чуткого с девяносто четвёртого года.

С девяносто четвёртого. Кира сказала то же самое.

— А что было в девяносто четвёртом?

— Не знаю, — Ян пожал плечами. — Правда. Агния Львовна не рассказывает. Говорит, что последний чуткий ушёл из лица в девяносто четвёртом и с тех пор Палата... — он искал слово, — хромает. Мы кладём, а прочитать, что положено до нас, не можем. В Зале Ключей сотни ниш. Девяносто лет воспоминаний. И никто их не видел.

— Что такое «ключи»?

— Традиция, — Ян улыбнулся. — Каждый выпускник Палаты, уходя из лица, оставляет ключ. Одно воспоминание. Самое важное. Что-то, что связывает его с лицом навсегда. Кладёт в нишу — и уходит. Поэтому выпускники всегда возвращаются. Что-то их тянет. Часть их самих здесь.

Я подумала о Елене Галаниной, которая приезжает раз в год на попечительский совет. На белом катере «Мнемозина».

— А твоя мама? — спросила я. — Она тоже оставила ключ?

Ян застыл. На долю секунды — я заметила только потому, что смотрела очень внимательно. Потом улыбнулся снова.

— Мама была в Палате, — ответил он. — Даже возглав-

ляла её в свой год. Она мне сама рассказывала. Это она меня привела к Агнии Львовне, когда мне было тринадцать, — Он помолчал. — Про ключ не знаю. Она не говорит. Да и я не спрашивал.

* * *

— Если я соглашусь, что я должна буду делать? — я произнесла это медленно.

— Пройти испытание, — ответил Ян. — Простое. Мы положим что-нибудь в предмет, а ты скажешь, что там. Если угадаешь — ты с нами. Будешь ходить на собрания. Учиться у Агнии Львовны тому, чего нет в программе. И... — он помолчал. — И у тебя будет доступ в Зал Ключей. Ко всем нишам.

Ко всем нишам. К девяноста годам чужих воспоминаний. К маминому ключу, если она его оставила.

— А если не соглашусь?

— Тогда ничего, — Ян пожал плечами. — Пишешь свою работу, заканчиваешь лицей, уезжаешь. Никто тебя не тронет, — Он помолчал. — Только журнал тебе, боюсь, никто не вернёт. И на окно больше ничего не напишут — уже не надо будет.

Я посмотрела на него. Он смотрел на меня — спокойно, открыто, с той усталой полуулыбкой, которая была у него всегда.

— Ты знаешь, кто украл журнал.

— Нет, — ответил Ян. — Не знаю. Но если ты будешь с

нами, я узнаю. Обещаю.

Он встал, отряхнул пальто от опавших листьев, налетевших в беседку.

— Пятница, полночь, — бросил он через плечо. — Восточное крыло, третий этаж. Дверь ты знаешь. Если не придёшь — я пойму.

Он вышел из беседки и пошёл по тропинке обратно к лицею. Не оборачиваясь.

Я сидела одна на круглой скамейке, на ветру, и смотрела на озеро.

* * *

Глеб выслушал меня, сидя на перевёрнутой лодке у сарая, и всё это время рисовал в блокноте, не поднимая головы. Когда я закончила, он закрыл блокнот.

— Нет, — коротко бросил он.

— Что «нет»?

— Ты не пойдёшь.

— Это не тебе решать.

— А кому? — Глеб поднял голову. Глаза у него были злыми. — Тебе? Ты одна, ты здесь полтора месяца, ты не знаешь, кто они. Это те, кто сидит за круглым столом у окна в столовой. Те, кто весной смотрел, как моего отца уводят в наручниках, и не сказал ни слова. Те, кто устраивает какие-то ритуалы со свечками в закрытом крыле. И их глава — сын Галаниной. Чей катер стоял у причала в ночь, когда погибла Алиса. — Он отшвырнул блокнот на лодку. — И ты хочешь

к ним. Отлично.

— Я хочу узнать, что случилось.

— Ты хочешь узнать, что случилось с твоей матерью, — Глеб встал. — Это не одно и то же. И мне это понятно. Правда. Но ты лезешь в логово к людям, которые, может быть, убили Алису, и думаешь, что тебя они не тронут.

— А ты что предлагаешь? Сидеть в архиве и читать протоколы?

Глеб ничего не ответил. Он стоял, сжав кулаки, и смотрел на меня. Потом вдруг спросил:

— Ты им веришь?

— Нет.

— Ни Галанину, ни Штерн?

— Нет.

— А мне? — Глеб смотрел на меня в упор. — Мне ты веришь?

Я молчала. Слишком долго.

Глеб усмехнулся. Подобрал блокнот с лодки, сунул в карман.

— Понятно, — проговорил он. — Ты всем врёшь одинаково. Даже мне. Даже про то, что видела у статуи. Думаешь, я не понял, что ты что-то скрываешь? С первого дня. — Он пошёл к лестнице, ведущей наверх, к лицу. Остановился на первой ступеньке. — Иди к ним. Только когда тебя там сожрут, как Алису, не жалуйся.

Он ушёл.

Я стояла у сарая, в сумерках, и смотрела ему вслед. Мне хотелось крикнуть: «Да, я скрываю! Я вижу чужие воспоминания! Я видела, как падала Алиса! Я видела её лицо!» Мне хотелось догнать его, схватить за рукав, рассказать всё.

Я не догнала.

* * *

В пятницу, без пяти двенадцать, я стояла у двустворчатой двери с медными ручками в виде переплетённых змей.

На этот раз я была в ботинках. И не пряталась.

Дверь открылась прежде, чем я успела постучать.

На пороге стоял Ян. В тёмном плаще поверх формы, со свечой в руке. Он посмотрел на меня, и его лицо осветилось — не улыбкой, а чем-то другим. Облегчением.

— Пришла, — проговорил он. — Заходи.

Зал Ключей при свете свечей был ещё прекраснее, чем сквозь замочную скважину. Круглый, высокий, с куполом, расписанным звёздами — настоящими созвездиями, с подписями по-латыни, — и с нишами по стенам. Сотни ниш. Они шли рядами, от пола до самого купола, и в каждой что-то стояло. Шкатулки, статуэтки, камни, раковины, подсвечники, флаконы, книги, старые часы, детская игрушка — деревянная лошадка, — серебряный медальон на цепочке, засушенная роза под стеклянным колпаком. Всё разное. Всё — старое.

И от каждой ниши тянуло холодом.

Я почувствовала это сразу, как только переступила порог.

Не руками — всем телом. Будто вошла в погреб в жаркий день. Холод шёл от стен, от ниш, от каждого предмета — тихий, неподвижный, терпеливый. Сотни маленьких сквозняков. Сотни закрытых дверей.

Я покачнулась. Ян подхватил меня под локоть.

— Ты чувствуешь, — проговорил он тихо. Не вопрос. — Агния Львовна говорила, что чуткие чувствуют с порога.

Посреди зала, полукругом, стояли шестеро. Кира, Полина Дружинина, трое парней и девушка, которых я знала только в лицо. Все в плащах, все со свечами. В стороне, в своём кресле, сидела Агния Львовна. Она смотрела на меня, и её лицо было непроницаемым.

— Добрый вечер, Варвара, — проговорила она. — Рада, что вы решили прийти. Испытание простое. Галанин, будьте добры.

Ян отпустил мой локоть и подошёл к ближайшей нише — в нижнем ряду, у двери. Взял оттуда что-то и вернулся ко мне. Протянул на ладони.

Серебряный подсвечник. Маленький, потемневший, с отломанной ручкой.

— Год назад один из нас положил сюда воспоминание, — проговорил Ян. — Одно. Что там — знает только Агния Львовна: он ей рассказал перед тем, как класть. Сам он больше не помнит, — Ян помолчал. — Возьми его. Скажи, что видишь.

Я посмотрела на подсвечник. Потом на Агнию Львовну.

Потом на Киру — та смотрела на меня очень напряжённо, почти не мигая.

Я взяла подсвечник.

* * *

Ветер. Озёрный, свежий, пахнущий водорослями. Брызги в лицо. Парус над головой, белый, тугой, хлопающий. Руки — маленькие, детские, лет восемь, — держат канат, и он режет ладони, и это больно, и это прекрасно. Лодка кренится, вода совсем рядом, у самого борта, и сердце колотится от страха и восторга. А рядом — мужчина. Большой, борода-тый, смеющийся. Его рука лежит поверх детских рук на канате. И голос, низкий, весёлый: «Держи, Янька! Держи! Вот так! Ты моряк!»

Мир вернулся.

Я стояла посреди Зала Ключей, держа в руках серебряный подсвечник, и по щекам у меня текли слёзы. Не мои. Его.

— Лодка, — проговорила я. Голос дрожал. — Парус. Тебе восемь. Ты держишь канат, он режет ладони. Рядом мужчина с бородой. Он смеётся. Он говорит: «Держи, Янька. Ты моряк».

Тишина в зале стала оглушительной. Шесть свечей не шевелились.

Агния Львовна медленно кивнула.

— Верно, — произнесла она негромко. — Дословно.

Я подняла глаза на Яна.

Он стоял передо мной, очень бледный. Седая прядь бле-

стела в свете свечей. Он смотрел на меня так, будто я ударила его.

— Это... — он сглотнул. — Это я положил? Это было моё?

— Твоё, — ответила Агния Львовна из кресла. — Год назад. Ты сказал: «Хочу положить что-нибудь хорошее. Для проверки». Ты выбрал день, когда отец впервые взял тебя под парус. За год до того, как ушёл из семьи.

Ян молчал. Смотрел на подсвечник в моих руках.

— Я не помню, — проговорил он наконец. Очень тихо. — Я не помню, что отец брал меня под парус. Я думал... я думал, он вообще никогда со мной не... — Он замолчал.

Потом улыбнулся. Той же улыбкой, что всегда, — только губы у него дрожали.

— Ну вот, — проговорил он. — Теперь знаю. Спасибо, Варя.

Он взял у меня подсвечник и поставил обратно в нишу. Аккуратно, бережно. Постоял секунду, держа на нём руку. Потом обернулся к остальным.

— Она с нами, — произнёс он ровно. — Возражения? Никто не возразил.

Кира Рябинина стояла в полукруге, со свечой, и смотрела на меня. В её глазах было что-то, чего я не могла прочесть. Не радость. Не страх.

Кажется, жалость.

* * *

Из Зала Ключей мы выходили по одному, с интервалом в три минуты. Правило Палаты. Чтобы никто в коридорах не увидел цепочку старшекласников со свечами и не задал вопросов.

Я вышла предпоследней. Ян задержал меня у двери — коротко сжал плечо, улыбнулся, кивнул: иди. Его рука была холодной, как подсвечник.

Коридор восточного крыла тянулся в темноте, длинный, гулкий, с высокими окнами по левой стене. Луна лежала на полу белыми прямоугольниками. Я шла от одного к другому, как по льдинам.

На повороте к лестнице от стены отделилась тень.

— Тише, — шепнула Кира. — Это я.

Она стояла в нише у окна, обхватив себя руками. Без свечи. Без пиджака — в одной рубашке, хотя в коридоре было холодно так, что изо рта шёл пар.

— Ты меня ждала?

— Нет. Я тут гуляю. Люблю, знаешь, ночью в мороз постоять у окна, — Кира скривилась. — Конечно, ждала. Идём. Не здесь.

Она потянула меня за рукав — вниз по лестнице, через площадку, в маленькую дверь, которую я раньше не замечала. За ней оказалась узкая служебная лестница, пахнувшая мышами и старой краской. Кира села на ступеньку. Я — рядом.

— Что ты видела? — спросила она без предисловий. —

В подсвечнике.

— Парус. Отца. Ты же слышала.

— Слышала, — Кира смотрела на свои руки. — И видела его лицо. Когда ты сказала «Держи, Янька». Он не знал. Он правда не знал, что положил это. Год назад. Ему было семнадцать, отец ушёл, и он пришёл в Зал и сказал Агнии: «Хочу положить что-нибудь хорошее. Чтобы оно не испортилось». И положил. И забыл. И целый год думал, что отец никогда его никуда не брал. Что ему было на него наплевать.

Она замолчала.

— Ты понимаешь, что ты сегодня сделала, Ольхина?

— Вернула ему отца.

— Ты ему показала, что у него в голове дыры, — Кира резко повернулась ко мне. — Которых он не видит. Которые он сам сделал. И теперь он будет думать: а что ещё? Что ещё я положил и забыл? — Она понизила голос. — Мы все так живём. Вся Палата. Мы кладём — и забываем, что клали. Нам кажется, что мы целые. А ты пришла и показала дырку.

— Я не хотела.

— Знаю, — Кира вдруг обмякла. Опустила голову на колени. — Знаю, что не хотела. Алиса тоже не хотела. Она просто брала и смотрела. Сначала в чужое. А потом начала в своё. Знаешь, что она мне сказала в апреле? «Кирка, я положила свой страх в чернильницу, а он не ушёл. Он остался. Просто теперь я не помню, чего боюсь. Это ещё хуже».

Я молчала. Где-то внизу, в подвале, гудели трубы отопле-

ния.

— Она тоже могла брать? — спросила я наконец. — Алиса?

— Нет. Она была как все. Только упрямая. Она сидела у ниш часами, держала руку на вещах, пока не начинала идти кровь носом, — и иногда, если очень долго, ей что-то мерещилось. Тень. Обрывок. Агния говорила, так бывает у тех, кто очень хочет, — Кира подняла голову. — А ты — по-настоящему. С первого раза. Как будто открываешь дверь.

Она встала. Отряхнула юбку.

— Агния будет тебя беречь, — проговорила она. — Она так всех бережёт, кто ей нужен. А Ян будет тебе благодарен. До поры. А потом — испугается. Потому что ты знаешь о нём больше, чем он сам. — Кира поднялась на две ступеньки и обернулась. — Не бери ничего из ниш без Агнии. Обещай.

— Почему тебя это волнует?

Кира долго смотрела на меня сверху вниз. В темноте её лицо было белым пятном с двумя тёмными провалами глаз.

— Потому что в прошлый раз я ничего не сказала, — ответила она. — И я до сих пор не знаю, чего ей стоило бы, если бы сказала.

И ушла наверх. Её шаги стихли через минуту.

* * *

Соня спала. Красный огонёк над дверью мигнул, когда я вошла: запись. Утром она проверит и увидит «02:14» — и это буду я.

Я легла, не раздеваясь. Смотрела в потолок, на жёлтое пятно протечки.

Год назад Ян положил в подсвечник своего отца. Лучшее, что у него было. Чтобы не испортилось.

А что было бы, если бы он положил худшее?

Я повернулась на бок и подсунула ладонь под щёку. Пальцы были ледяными.

Я думала о маме. О её пустых глазах на фотографии, которую показывал Тимофеич. О надписи в учебнике: «Я не помню, кто ты».

О том, что кто-то положил её лучшую подругу в стены. И она потом тридцать лет трогала эти стены — в Ковде, в больнице, везде, — и искала. И не находила.

«Больное надо носить с собой. Стены потом плачут».

Я заснула только под утро. И мне снился дом в Ковде, все комнаты которого были полны чужих вещей. Подсвечники. Фарфоровые птички. Зеркальца. Чернильницы. И между ними ходила мама в больничном халате и трогала каждую вещь, одну за другой, и шептала: «Не моё. Не моё. Не моё».

Глава десятая. Палата

ЖУРНАЛ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ (НОВЫЙ)

Запись 1. 20 октября

Старый журнал украден. Начинаю заново. Этот буду носить с собой.

Восстановлено по памяти: всё. Я помню каждое слово в каждом интервью. Агния Львовна была права: у меня хорошая голова. Это единственное, что у меня по-настоящему хорошее.

Для работы: собрание Палаты проходит по пятницам, в полночь. Состав — семь хранителей. Теперь восемь. Куратор — А. Л. Штерн.

Для себя: в Палату не берут, в Палате учатся. Пока я учусь, я молчу.

* * *

Агния Львовна вела занятия Палаты так же, как обычные уроки мнемоники. Сидя в кресле, сложив руки на коленях, без единой бумажки. Только голос — ровный, сухой, чуть усталый.

Мы сидели перед ней полукругом на низких скамьях, обитых потёртым бархатом. Восемь человек в тёмных плащах. Свечи стояли на полу, в медных плошках. Звёзды на куполе мерцали в их свете, будто настоящие.

— Правило первое, — Агния Львовна обвела нас взгля-

дом. — Кладут только своё. Никогда — чужое. Вы не имеете права положить воспоминание о другом человеке, если он не дал на это согласия. Вы не имеете права заставить другого человека класть. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.

«Одну девочку заставила».

Я смотрела на неё и не могла отвести глаз.

— Правило второе. Не чаще раза в месяц. Каждое вынесение оставляет пустоту — мы называем её проплешиной. Одна проплешина — ничего. Десять — головные боли. Сто — человек становится похож на выцветшую фотографию. Он помнит, как его зовут, где он живёт, что ел на завтрак. Но не помнит, почему ему было больно, когда он впервые влюбился. — Агния Львовна помолчала. — Я видела таких. Это хуже смерти.

Ян рядом со мной пошевелился и потёр висок.

— Правило третье. То, что положено, не берут без согласия положившего. Это касается вас, Варвара. — Она посмотрела прямо на меня. — Вы можете брать. Это редкий дар. Но каждая ниша здесь — это чья-то закрытая дверь. Человек закрыл её, потому что не мог жить с тем, что за ней. Если вы откроете её без спроса, вы станете вором. Хуже — вы станете тем, кто знает чужое. А это тяжело носить. Очень тяжело.

«Испытуемая Ч. отказалась от дальнейшего участия в опытах, заявив, что не может больше носить чужое».

— Правило четвёртое, — Агния Львовна выпрямилась в кресле. — Последнее. И главное. Колокол — не для нас.

Тишина. Свечи потрескивали.

— Никто из Палаты не поднимается к колоколу. Никто не касается его. Никто не кладёт в него и не берёт из него. Это не обсуждается, — она обвела нас взглядом. — Кто нарушит — уходит из Палаты и из лица в тот же день. Я лично прослежу.

— Почему? — спросила я.

Все повернулись ко мне. Кира — резко, предупреждающе. Ян — медленно.

Агния Львовна долго смотрела на меня. Её лицо в свете свечей казалось высеченным из того же мрамора, что и Мнемосина.

— Потому что колокол принадлежит основателю, — ответила она наконец. — Вельский положил в него свой ключ, когда открывал лицей. Это первый ключ. Он держит все остальные, — пауза. — И потому что в девяносто четвёртом году кое-кто это правило нарушил. И погиб.

Ирина Залесская.

— На сегодня всё, — Агния Львовна поднялась. — Галагин, проводите Ольхину по залу. Покажите, где что. Остальные свободны.

* * *

Ниши в Зале Ключей были подписаны. Я не заметила этого в первый раз — на каждой, под нижним краем, была крошечная латунная табличка с выгравированными буквами и цифрами. Инициалы и год.

— По годам выпуска, — Ян шёл вдоль стены, держа свечу. — Внизу — тридцатые. Чем выше, тем ближе к нам. Наш ряд — вон там, под самым куполом, на лестнице надо стоять, — он показал на деревянную стремянку у стены. — Каждый хранитель, кроме ключа, получает свою нишу на время учёбы. Для ежемесячных вынесений. Когда выпускается — нишу закрывают, и туда идёт ключ.

— А если хранитель не выпустился?

Ян остановился.

— Тогда ниша остаётся как есть, — ответил он, не оборачиваясь. — С тем, что он туда успел положить.

Он пошёл дальше. Я — за ним.

Тридцатые. Сороковые. Шестидесятые. Ниши, ниши, ниши. Фарфор, бронза, стекло, дерево. На каждой — инициалы. От каждой — холод.

Девяностые были на высоте человеческого роста, в среднем ярусе. Я нашла их сама — Ян задержался у двери, разговаривая с Полиной.

«1994».

Семь ниш. Семь латунных табличек.

Я читала их по одной, с замирающим сердцем.

«Д. К. — 1994». Компас в медном корпусе.

«М. Р. — 1994». Перочинный нож.

«И. З. — 1994».

Ниша была пустой. Совсем. Только пыль на дне, тонким серым слоем.

Ирина не успела положить ключ. Она погибла до выпуска.
«Е. В. — 1994». Маленькое серебряное зеркальце в рамке с завитками, поставленное на ребро.

Е. В. Елена Вострикова. Мать Яна.

И рядом, в соседней нише:

«О. О. — 1994».

Пусто.

Я стояла перед пустой нишей с мамиными инициалами на латунной табличке и смотрела в темноту. Пыль на дне. Ни предмета, ни холода. Ничего.

Мама не оставила ключ. Её увезли раньше выпуска. Через неделю после Ирины.

Я протянула руку и коснулась пустого дна ниши. Камень. Холодный, но обычный холод, каменный. Никакой тяги, никакой двери. Пусто.

Как у неё в глазах на фотографии с причала.

* * *

Зеркальце Елены Востриковой стояло в соседней нише, на расстоянии ладони. Серебряное, потемневшее, с тонкой гравировкой по ободку. От него тянуло холодом — сильным, густым, как из открытого погребя.

«Каждая ниша — чья-то закрытая дверь. Если вы откроете её без спроса, вы станете вором».

Я оглянулась. Ян всё ещё стоял у двери с Полиной. Остальные уже ушли. Агния Львовна ушла первой.

Я протянула руку и коснулась зеркальца.

* * *

Солнце. Ослепительное, майское, горячее. Крыша. Плоская, нагретая, пахнувшая рубероидом и голубиным помётом. Небо над головой — огромное, синее, без единого облака. И смех.

Мой смех — нет, её, Лены, но я его чувствую в горле, в груди, он рвётся наружу. А рядом — ещё двое. Две девушки, лежат на крыше, раскинув руки, в белых блузках, без пиджаков, с распущенными волосами.

Одна — светловолосая, серьёзная, с книжкой на груди. Ирина. Она улыбается одними уголками губ, щурится на солнце.

Вторая — тёмненькая, с родинкой над губой. Хохочет так, что не может остановиться. Мама.

Мама.

— Обещайте, — говорит Ирина, не открывая глаз. — Обещайте, что мы всегда будем вместе. Даже когда уедем.

— Обещаю! — мама хохочет, переворачивается на живот, смотрит на меня — на Лену — сияющими глазами. — Ленка, обещай!

И я — Лена — чувствую, как внутри поднимается что-то огромное, тёплое, больное. Любовь. Такая сильная, что трудно дышать. Я люблю их. Обоих. Больше всего на свете. Больше себя.

— Обещаю, — говорю я. — Всегда.

* * *

Я отдёрнула руку.

Я стояла перед нишей, задыхаясь, и по щекам у меня текли слёзы. Чужие. Ленины.

Она любила их. Елена Вострикова, ставшая Еленой Галаниной, председателем попечительского совета, — любила мою маму и Ирину Залесскую так, что положила эту любовь в зеркальце, как самое главное, что у неё было в жизни. Свой ключ. То, что связывает её с лицом навсегда.

А через неделю после этого дня Ирина упала с колокольни. А мама вернулась домой с пустыми глазами.

— Варя?

Я обернулась. Ян стоял в трёх шагах от меня со свечой. Смотрел на мои мокрые щёки. Потом на нишу. Потом на табличку.

«Е. В. — 1994».

Его лицо медленно изменилось.

— Ты брала, — проговорил он тихо. — Из маминой.

Я молчала.

— Агния Львовна только что сказала: без согласия — нельзя. — Его голос был ровным, но я видела, как он сжал свечу. — Что там? Что положила мама?

Я смотрела на него. На седую прядь. На светлые, усталые глаза. На руку, сжимавшую медный подсвечник так, что побелели костяшки.

— Крыша, — ответила я. — Солнце. Три девушки лежат на крыше обсерватории и смеются. Обещают друг другу, что

всегда будут вместе, — я сглотнула. — Она их любила, Ян. Очень.

Ян долго молчал. Свеча в его руке дрожала.

— Кого — «их»?

— Своих подруг. Ирину Залесскую. И... — я запнулась.

— И ещё одну девушку.

Я не сказала «маму». Не смогла.

Ян медленно кивнул. Потом отвёл глаза.

— Она никогда не рассказывала мне о подругах, — проговорил он. — Ни разу. Я думал, у неё их не было. Она всегда говорила: «Дружба — это для тех, кому нечего терять», — он помолчал. — Значит, было что.

Он отвернулся и пошёл к двери.

— Ян, — позвала я. — Ты скажешь Агнии Львовне?

Он остановился у порога. Не обернулся.

— Нет, — ответил он. — Но больше так не делай. Пожалуйста. Не с её нишей.

* * *

Он ушёл. Я осталась одна в Зале Ключей.

Свечи догорали на полу в медных плошках. Звёзды на куполе мерцали. Сотни ниш смотрели на меня из темноты — сотни закрытых дверей, сотни сквозняков.

Мне надо было уходить. Я знала. Агния Львовна сказала: «по комнатам». Ян сказал: «не делай так».

Я подняла свечу и пошла к стремянке у стены.

Верхний ряд, под самым куполом. Ниши нынешних хра-

нителей. Я нашла их по латунным табличкам. «Я. Г.» — пустая коробочка из-под часов. «К. Р.» — глиняный горшочек, крошечный, как для кактуса. «П. Д.» — фарфоровая птичка, та самая.

И «А. Р.».

Флакон из-под чернил. Тёмно-синее стекло, пробка с латунным колпачком. Пустой — чернил внутри не было. От него тянуло холодом.

Алиса не выпустилась. Ниша осталась как есть. С тем, что она успела положить.

«То, что положено, не берут без согласия положившего».

Алиса не могла дать согласия. Алиса была мертва.

Я поставила свечу на верхнюю ступеньку стремянки. И взяла флакон.

* * *

Ночь. Библиотека. Свет настольной лампы — жёлтый круг на зелёном сукне. Руки — тонкие, с обкусанными ногтями, с серебряным колечком на мизинце — держат книгу. Старую, в кожаном переплёте. Овидий. «Метаморфозы». Переплёт надорван у корешка, и из-под форзаца торчит край бумаги. Пальцы осторожно, медленно вытягивают её. Листы. Сложенные вчетверо, исписанные мелким, аккуратным, девичьим почерком.

Первая строка. Я читаю её чужими глазами, и сердце в чужой груди останавливается.

«Если ты это читаешь, значит, я не успела. Не верь Лене.

Колокол помнит. И.»

Страх. Холодный, липкий, огромный. Не за себя — за то, что держишь в руках. За то, что это значит. За то, что теперь придётся с этим делать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.